

«Я целый мир хотел обнять»

О поэзии Михаила Грозовского



1. «Я целый мир хотел обнять»	1
2. «Миша, Миша, открой мне свой секрет»	9
3. «Так, чтоб жизнь и красота слились в один кристалл».....	13
4. «Тайна мира»	24
5. «В пространстве меж богом и чёртом»	38
6. «И собой научат грустного меня»	43
7. «Я сам такой же человечий, мятежный и заблудший зверь»	49
8. «Русские сфинксы»	53
9. «Для мысли и духа она мне одна не тесна»	59

1. «Я целый мир хотел обнять»

Есть люди, рождённые и выросшие в любви, в сознании которых любовь эта приобретает вселенский характер и воспринимается как основа жизни вообще. Поэтому всё её сияние они переносят на окружающий мир. Душа их с детства исполнена радости и доброты, и жизнь предстаёт перед ними в её самом светлом праздничном облике, который, раз поселившись в них, уже никогда их не покидает. Им кажется, что всё вокруг улыбается и содействует им, ибо восхитительные красоты этого мира они созерцают изнутри, в их первоизданном облике, глазами богосозданной души.

Так продолжается до тех пор, пока в их гармонический мир не вторгается грубая земная реальность, обнажая перед ними уже совсем иное лицо жизни, - искажённое от отсутствия любви и присутствия зла, предательства, болезней, непрекращающейся борьбы, старости, и, наконец, смерти. Чаще всего это происходит, когда умирает кто-то близкий. Смерть, как гром среди ясного неба, врывается в искажившийся мир, производя в них глубокий внутренний конфликт с ним. Они не хотят принять его зла, даже если, будучи вовлечены в него, покоряются его законам. Сами того не желая, они оказываются как бы меж двух миров – миром души, жаждущей любви и радости, и миром земной реальности, отмеченной присутствием зла. Оба эти мира с равной силой борются в их сознании. Люди, подверженные такой борьбе, обычно плохо вписываются в

рассудочность земной жизни, так как, несмотря ни на что, навсегда остаются как бы меж двух миров, тесно связанные с одним из них бессмертной душой, а с другим – смертной плотью своей. Жизнь их проходит между возвышенным и земным, и от человека зависит, что в нём одержит победу.

Михаил Грозовский относится именно к таким людям и поэтам. Его удивительной красоты стихотворения исполнены живого чувства и затрагивают оба мира в невольном их смешении. Поэтому одни из них дышат ликующей радостью от ощущения полноты жизни, а другие – глубокой печалью от сознания её преходящести и искажённости. Именно этим двум основным идеям и подчинён внутренний смысл всей его поэзии и всех его исканий.

Чтобы понять истоки радости и печали поэта, надо ознакомиться с его жизнеощущением - тем деревом, от которого произрастает всё внутреннее содержание его творчества. Начнём с самой светлой составляющей его поэзии.

Она обнаруживает Михаила Грозовского как одного из тех редких поэтов, душа которых находится в полном, я бы даже сказала, каком-то мистическом симбиозе с миром первозданной природы. Он всем существом своим, как эолова арфа, откликается звучанием любви на каждое проявление естества богосозданного мира. При этом сам он созерцатель, настолько увлечённый созерцаемым, что всецело сливается с ним, становясь как бы его частичкой, участником всего вовлечённого в жизнь, всей Вселенной, которую он уже не отличает от себя.

И я взываю ко Вселенной,
А значит, к самому себе, -

говорит он в одном из своих стихотворений, идентифицируя себя с образом исполненной жизни творения. - Ведь это именно жизнь он наблюдает и воспеваает во всей её всеобъемлющей целостности. Кажется, видя в ней единый организм, он любит всё, что его составляет, то есть всё, что принимает участие в круговороте жизни. Но любит любовью созерцателя, не вмешиваясь в ход событий, ибо созерцание настолько поглощает его душу, что для чего-то другого в ней не остаётся места. А если герой его и совершает какие-то действия, то делает это, подчиняясь всеобщему ритму жизни. Иными словами, он становится частью того ликования, которое испытывают все живущие при осознании жизни, ибо саму жизнь как таковую поэт воспринимает именно как ликование и праздник, глубоко заложенные в подсознание человека и всего живого вообще.

Одним из характерных его стихотворений в этом смысле является стихотворение «Окно было настезь». Это гимн жизни, звучащий, как начало Первого фортепианного концерта Петра Ильича Чайковского. В нём проявляется способность поэта немногими словами создавать сверкающий красками и звуками живой образ пробуждения природы, сопровождающегося ликующей радостью всего живого.

Окно было настезь,
И шторы дышали апрелем.
И куст, воробьями заряженный,
Весь пролетарский запал
Весне отдавал
И звенел.
И в сосульках прожилки горели.
И кот у соседей под вечер из дома пропал.

И было смешно и легко.
И хотелось дышать как попало,
Обняться со всеми,
Любить без разбору, без дна...
Мне было шестнадцать.
Для полного счастья хватало
Мгновенной весны и открытого настежь окна.

Любовь к жизни буквально хлещет из строк этого стихотворения. Она разлита в природе, её чувствуют все: и воробьи, и куда-то пропавший кот, и даже «куст, воробьями заряженный», даже сосульки с горящими в них прожилками. Всё сверкает, сияет и радуется, и сам поэт ощущает себя в единстве со всеми ликующими, не отделяя себя ни от кого и ни от чего. Он чувствует своё родство со всеми и ко всем преисполнен всепоглощающей любви. Он брат и воробьям, и коту, и вообще всем, в ком проявляется жизнь. Это всеобщее ликование, передающееся ему, как по цепочке, он очень ярко выразил и в стихотворении «Соловей, стервец лесной», которое также хочется привести целиком:

Соловей, стервец лесной,
Душегубец милый,
Что ты делаешь со мной,
Задремавшим было?

При ночном-то кураже
Бешеные трели
Что-то, видимо, в душе
Главное задела.

Просто обморок в крови!
Тут уж поневоле
Задохнёшься от любви,
Музыки и боли.

Видно, мастер изнутри
Постигал науку,
Раз почувствовал в груди
Я восторг и муку.

Снова трель, ещё одна...
С щёкотом, с метелью.
Да над крышею луна.
Да звезда над елью...

Лёгкость и красота изложения в ритме с ударами сердца создают ощущение того, что стихотворение просто выдыхается поэтом, - и читатель не может не подхватить этот выдох. Оно свидетельствует о том, что жизнь для его автора сродни божественному саду, в который он так естественно интегрируется, что даже испытывает «обморок в крови» и едва не задыхается «от любви, музыки и боли».

Душа человека таинственными нитями связана со всем сотворённым, но очень немногие это чувствуют и понимают. Грозковский – один из этих немногих. Как я уже сказала, за разнообразием живых форм он, кажется, видит единый объединяющий их всех образ, так что сам ощущает себя частичкой этого необъятного организма, в котором человек и соловей, будучи созданиями

Божьими, не слишком-то и отличаются друг от друга. Мы встречаемся с этим во многих его стихотворениях. Например, в стихотворении «Весна» он пишет:

Я просто в миг *перемешался* с тем,
Что двигалось, от радости стонало,
Ни о каких печалях знать не знало, дышало,
Будучи довольным вся и всем,
И жить,
По сути,
Только начинало.

Глубоко чувствуя внутреннюю красоту и ритм мира, в котором живёт его душа, Грозовский неизменно растворяется в нём, и как бы перестаёт ощущать себя вне его. Как он отмечает в другом стихотворении,

«На звёзды вышел посмотреть ...
и незаметно для себя частицей ночи стал».

Ещё в одном стихотворении «И справа, и слева лежали поля» он растворяется в тишине снегопада, так описывая свои ощущения:

« А во мне было тихо так,
Как будто меня и не было.»

Такое слияние с природой, её звуками и красками поэт ощущает как счастье. А рождается это счастье из любви, которая, вовлекая в себя всё и всех, бьёт ключом жизни из его души. Поэтому природа играет решающую роль в мировосприятии поэта. В этом смысле знаменательно стихотворение «Как будто рухнул занавес», показывающее, как один лишь выход солнышка способен извлечь из души поэта его внутренний мир, преисполненный любви ко всем и всему.

Как будто рухнул занавес
Обыденного дня!
И мир как будто заново
Родился для меня!

Улыбчивое солнышко
Взошло на небосклон.
Я нынче чист как стёклышко!
Как колокольный звон!

.....

И так на сердце весело,
Что от избытка чувств
Я дядю Колю, слесаря,
Похлопал по плечу.
А он, нормальный пьяница,
Рупь занял под аванс,
Смущённо так раскланялся
И сделал реверанс...

Только выглянуло солнышко – и уже в душе поэта звенят колокола, он празднует жизнь, внушая и даря этот праздник всем, и даже дяде Коле, пьянице, взволнованному нежданным порывом любви к нему и охваченному, освящённому и объятому этим же добром. Другое, такое же чудесное стихотворение «Под музыку Земли» показывает, что любовь настолько владеет поэтом, что покрывает

собой и добро, и зло мира. А эта любовь есть не что иное, как освещающий его Божий свет, который, как говорится, восходит и над злыми и над добрыми:

Под музыку Земли
я превращаюсь в снег
и на добро и зло
не рву себя на части.

Я жажду разделить
любовь свою на всех,
на большее число
мечтающих о счастье.

Счастье для поэта – это полнота жизни, её суть и содержание – жить для всех. Поэтому стихотворение он заканчивает словами:

Я рядом. Я живу
для всех.

И не удивительно, что в порыве любви к миру он признаётся в стихотворении «Познай себя, познай себя...»:

Я целый мир хотел обнять.

И это желание, эта готовность любви красной нитью проходит через всё его творчество. Во многих его стихотворениях мы читаем, например:

И хотелось... обняться со всеми, любить без разбору, без дна

или

Я, всех любя, посылал привет из белого мрака дымного...

или

Шенвальдский лес и я в плену щемящей, тихой
и грустной нежности неведомо к кому.

Он чувствует любовь даже к хмурому незнакомцу, тёмной ночью стоящему в ожидании электрички. Наблюдая за ним, он заключает свои мысли следующими словами:

«Иная жизнь. Иной итог.
И память, и печаль иная.
Но я люблю его за то,
Что я его совсем не знаю.

За молчаливые следы,
За равнодушный запах дыма,
За то, что наши две судьбы
В слепой ночи неразделимы»

Эту неразделимость поэт чувствует не только по отношению к человечеству, но и по отношению ко всей природе. Осознание единства всего живущего по сути схоже с богослужением, в котором участвуют и земля, и небо, и всё, что их

наполняет. Так, одно только воспоминание о поле, о ржании коня - и душа поэта, как он сам выражается, «патриархально и счастливо затаивается, не дыша». И вот она уже «благословляет небосвод». Он весь в плену у жизни, и этот плен куда желанней ему «пустых стремлений и свобод» («Рождённый образом обманным»), которые блекнут перед лицом великолепия, красоты и значимости творения. Поэт празднует образ жизни каждой весной и каждым утром («Веленье жить едва заметно»). Причём празднование это связано с оживлением, движением, творением. Поэтому любой осмысленный созидательный труд человека он воспринимает в симбиозе с жизнедеятельностью всего организма творения. Так, его восхищает любая слаженная работа, будь то, например, работа могильщиков, «красота» и профессионализм которых завораживают поэта -

И, стыдно признаться, я, глядя на них,
Забыл, что кого-то должны хоронить; -

или будь то работа рыбаков, которые напоминают ему богов -

«На Севере-трали, на Севере-вали
мы полные трюмы треской набивали,
и рыба лавиной текла к рыбакам,
которые были подобны богам.»; -

или будь то работа бульдозериста Мишани, который трудится, «как дьявол и титан» и труд которого он сравнивает с песней:

«где тарахтит бульдозер,
Где дыбится земля,
Где в дерзновенной позе
Мишаня у руля.

Он давит на педали,
Он передачи рвёт.
Лицо б его видали!
Он счастлив. Он поёт»

Красота простого полевого труда, когда привыкшие к присутствию трудящегося одинокие псы и птицы начинают признавать в нём друга, настолько увлекает его, что он даже предпочитает его «книжной мудрости» («Телогрейку надену и стану другим человеком»)

Глубокое осознание первоначального значения каждого в структуре жизни показывает, как часто гордость человека заставляет его преувеличивать собственное значение, тогда как оно, по словам поэта, в труде и в служении другим («Костёр»).

Участие душой во всех проявлениях жизни, сопровождающееся внутренним ликованием, многогранно и бесконечно, подобно образам в калейдоскопе, когда разрушение одного образа порождает другой. И так до бесконечности. Хотя на самом деле камушки, вставленные в него, не изменяются. Это взрывное ликование очень ярко выражено, например, в стихотворении «Искусство».

Помню, как-то в детстве дальнем
я задел графин хрустальный,
и рассыпался мой взгляд
на двенадцать хрусталят.

Перемигивались колко

те хрустальные осколки,
выражали – каждый свой –
обновленный и живой
блеск, собой являя чудо...

Больше не было сосуда,
но восторг взамен ему
был,
не знаю почему.

Сверкающие осколки разбившегося хрусталя сродни тому искрящемуся восторгу, тому всплеску радости жизни, который наполняет и ребёнка, и взрослого поэта. Они её образ.

Подобное чувство выражено поэтом и в стихотворении «Течёт весёлая река», в котором, наблюдая за псом, прыгнувшим в воду и потом с восторгом встряхнувшим с себя «густым фонтаном брызг» остатки воды, он настолько вживается в радость животного, что чувствует себя одной из этих капель. Так он разделяет эту радость общения с природой.

На шерсти молодого пса одна из капель – я.

В этом своём ощущении радости поэт не видит различия между тварями. Он говорит о радости жизни, равно испытываемой всеми. Всё в природе вызывает её, всё исполнено ею. Эта оголтелая, неудержимая радость чувствуется и в стихотворении «Краснеют листья винограда»

Краснеют листья винограда,
оплетшего мое окно.
Спроси, что мне для счастья надо,
и я отвечу: вот оно!

В мои-то годы быть счастливым
почти немислимо...

Но вдруг
срывается большая слива
и прямо на голову: бух!

И я смеюсь, ее хватая,
чтоб не разбилась, налету.
И мякоть спелую глотаю.
И за корзиною иду.

А счастье, что ж...
Оно похоже
на детство шалостью сквозной.
И горкою в корзинке лежа
смеются сливы надо мной.

Счастье – это осознавать, что вся природа исполнена дарами человеку. Поэт принимает их с благодарностью. Ему больше ничего и не нужно для счастья. И никакое разрушение, случайное или умышленное, не может изжить его. Никакие потери не могут заглушить жизнь в сердце поэта, потому что она больше их всех. Он показывает это в стихотворении «Костёр», где говорит о всепобеждающей весне, которая заставляет соловья петь, несмотря на сгоревший дом поэта и окружающее его пепелище. Вывод, который он при этом делает, следующий:

И, значит, впредь,
Раз без утрат не удастся,
То ничего не остается,
Как только маяться и петь.

Годы не изменили поэта. Уже будучи зрелым человеком и испытывая в душе, как он сам выражается, «восторг ребячий», он в одном из своих стихотворений кричит матери:

«-Мать! – кричу. – Что это значит?
- то и значит, - мать судачит, -
Что здоровый, а дурак...»
(«Выпал снег. И потеплело»)

Конечно, слова эти были произнесены матерью с любовью, которой дышат даже эти строчки, и тем не менее, судя также по другим стихам поэта, родные и близкие его, видимо, не вполне его понимают, не вполне отдают себе отчёт в стихии его души, в том, что детскость его на самом деле свидетельствует о большей зрелости его души по сравнению с их душами, о большей его духовности. Любя, конечно, но «дураком» его называет также тётка («А под вечер тяжесть на сердце легла»), а брат считает его «придурковатым» («Любил я девушку одну»). Кажется, взгляд родных на него настолько сросся с его образом, что временами и сам поэт награждает себя этим «эпитетом», хотя и не всерьёз («Ночные голоса»). А дело в том, что жизнь души отличается от жизни плоти и в этом плотском мире часто кажется бестолковой, ибо стихия её находится на совершенно ином уровне. Также не понятен обычным людям и герой стихотворения «Тимоха», которого не интересуют ни кино, ни газеты и который который чем-то близок автору. Взобравшись на самую рослую ель, он Тимоха

Гядел на соседние ели,
И взгляду на том рубеже
Открылись просторы без цели,
И было легко на душе.

Лихую разбойничью песню
Он пел и округу смешил,
Качаясь с вершинами вместе
И глядячи выше вершин

Стихотворение это по внутреннему накалу кажется эпическим полотном. То, что испытывал Тимоха, людям казалось юродством. Так и поэт, погружённый мыслью в небеса, «юродствует», когда в стихотворении «Пиво с сушками вприкуску» рассказывает, как от насущных дел его отвлёт прилёт трясогузки, показавшийся ему небесным знаком, который он, к сожалению, не смог расшифровать.

Казалось бы, свыкшийся с недооценкой близких людей, поэт с юмором *отвечает* на реплику брата:

Ну что ж... Пускай я бестолков.
Другой бы человек
(из умных, не из дураков),
Таких хороших бы стихов
Не написал вовек...

Наблюдение и размышление над вечной молодостью жизни как бы консервируют душу поэта, которая, переходя границу, разделяющую смертное от бессмертного, навсегда остаётся молодой. Даже в шестьдесят лет Грозовский не теряет детскости своей души в самом хорошем, здоровом смысле слова. Весёлым свидетельством этого является стихотворение «Мы качаемся в гамаке».

Мы качаемся в гамаке
на июльском на пикнике
вместе с мальчиком Сашей
от пирующих невдалеке.

Тот гамак - нынче место наше.

Саше три, а мне шестьдесят.
На деревьях плоды висят.
А мы с Сашей качаемся,
друг от друга не отличаемся....

Сохранение детскости воспринимается людьми как странность. На самом же деле оно свидетельствует о глубокой духовности человека, окрашенной любовью ко всему, что дышит, двигается и живёт.

2. «Миша, Миша, открой мне свой секрет»

Эта удивительная непретенциозная любовь ко всем живущим, этот светлый взгляд на окружающий мир зародились на почве той любви, которая царила в семье поэта и окружала его с детских лет. Она очень чётко проявляется, например, в чудесном стихотворении «Секрет», которое достойно того, чтобы привести его целиком.

«Миша, Миша,
Открой мне свой секрет:
Любишь ли ты дедушку
Или вовсе нет?»

Давно, тому уж много лет,
Придумал эту песню дед.
Он пел и жмурился, как кот,
И уходил на свой завод.

Когда же возвращался дед,
То я ему в прихожей свет
Включал
И тапки приносил,
Чтоб он меня опять спросил,
Люблю ли я его иль нет.

Я открывал ему секрет:
- Люблю! – кричал что было сил.
Он добрый был. И толстый был.

И не было такого дня,
Чтоб он не спрашивал меня.
И мы смеялись. И у нас
С ним получалось каждый раз:
Люблю!..

И через столько лет,
Когда давно уж деда нет,
Мне песни той не позабыть.
Я и сейчас готов открыть
Секрет того бывшего дня...
Но нету деда у меня...»

С такой же радостью, смехом, бегом связан и образ отца поэта, раскрытый им в стихотворении «Я только на миг, только на миг уснул...», посвящённом М. Зурину

Я только на миг, только на миг уснул...
В ранние канул дни.
Видел, как на дворе
С другом и братом втроём
Бегаем просто так...
Это была игра...
И хохочем до слёз...
Потом подошёл отец,
На руки всех поднял,
Начал сам хохотать...
.....
Они хохочут втроём.
Они на меня глядят.
Словно каждый из них
Ответного смеха ждёт...

Чем больше радость жизни наполняла поэта, тем абсурднее и томительнее была мысль о временности видимого мира. Она ранила его душу, и рана эта так и не зажила. «Пульсирует времени старая рана», говорит он в стихотворении «Звук капель из крана в ночной тишине», в котором проявляется вся его трепетная любовь к родителям и страх перед идущим временем, которое в конце концов унесёт их. Но куда? Поэт видит это куда как пустоту, как «резкую даль», где ничего и никого нет: «ни матери там, ни отца». Звук капель как будто отсчитывает срок жизни родителей, и он успокаивает себя, как если бы успокаивал их: «Не верьте им, мать и отец! Тот час роковой ещё очень далёк». Но вот для горячо любимого отца он оказался не таким уж далёким. Смерть, рано унеся его, заставила поэта глубоко задуматься над сутью бытия, которую он на протяжении всего своего творчества силится понять. Стоя на кладбище и скорбя по этому поводу, он говорит:

«Как ты лихо промчался
На тройке ретивых коней!
И пропал...
И попал
В окружение сонных камней.»

Но поэт не хочет верить в это и говорит:

«Ты ведь жив, мой весёлый отец!
Подымайся, промчись, прозвени,
Сотряси бубенец!»...
«...Мать от радости ахнет,
И бабка руками всплеснёт...
Подымайся...»

Присутствие умершего отца ознаменовало всю молодость и зрелость поэта. Он посвятил ему много стихотворений, в которых чувствуется его незатухающая тоска по нему.

«Мне б за столиком сидеть
С белой скатертью...
На отца бы мне глядеть
Рядом с матерью»

- говорит он в стихотворении «Эх ты, пьяная слеза».

К отцу бы рванулся, да – нету,
ушел он в безглазую тьму»

- сетует в стихотворении «Задумаешься спозаранку(...)». «Жгучая память» об отце врывается в его жизнь и когда он гонит свою лыжню «навстречу снегу и огню», она рождает в нём мучительные вопросы. Как бы обращаясь к смерти, он говорит:

Откуда прошлое взялось,
Сей траур, сей погост?
Ты сам откуда, тайный гость,
И боль, пронзившая насквозь
До самых дальних звёзд?

Неужто прошлого всего
Не одолею своего?
Неужто зимний след
И все мы, все до одного,
Нужны тебе, а без того
И будущего нет?

В другом его стихотворении «Уйду в года годов, века веков(...)» мир «выше облаков», куда уходят умершие, представляется ему миром «за гранью радостей и бед», в котором ничего «сверхъестественного нет», а есть только «тоска по брошенной земле». Мир этот сродни элизиуму из греческих мифов, где ходят тени, тоскуя о земле. И тем не менее весёлое и полное жизни лицо отца, которое «проступает из былых годин», в стихотворении «Памяти отца» вырисовывается здоровым и молодым, таким, каким он остался в памяти своих сыновей, и, надеясь на потустороннюю встречу с отцом, поэт пишет:

Когда-нибудь мы все как братья
Придём к тебе тропой ночной и скажем так:
«Здорово, батя!
Ты всё такой же молодой!»

И до безумия знакомо
Из самой ближней части мглы
Ты закричишь:
«Сынки, здорово!
Здорово, - скажешь ты, - орлы!»

Не менее впечатляют и стихи, посвящённые матери поэта. С болью в сердце он отмечает следы уходящего времени в облике матери. Особенно отчётливо он

замечает их осенью и зимой. В стихотворении «И снова лето в стороне» он с тоской и трепетом замечает:

«Но как словами передать
Тот свет, из жизни уходящий?
Тот материнский взгляд скользящий?..»

Образ «суровой», но любящей матери противоположен образу весёлого любящего отца. Поэту не всегда с ней легко (стихотворение «Ссора») и тем не менее стихи, посвящённые ей, полны любви, восхищения, нежности и бесконечного сочувствия. В стихотворении «Увяло могучее древо» поэт сравнивает мать с могучим древом и просит Бога продлить её жизнь:

И, бранный, у вечного Бога
Продлить её время прошу.

Присутствие матери поэт воспринимает как счастье:

...покуда
мать жива –
это счастье.

- говорит он в стихотворении «Матьхватила через край(...)». Но неизбежность смерти, ожидающей её впереди, мучает поэта как «ненавистная истина» («Матери, конечно, тяжело»). Проникнувшись мыслями постаревшей матери, он обращается к ней со словами нежного упрёка:

«Всю-то ночь сидишь, вздыхая»,

а в стихотворении «Маме» замечает:

«Старость хуже, чем война»,

и в порыве нежности и желания утешить её, говорит ей:

- Мать, - скажу, - не ты одна.
Я с тобой, не думай ты...

Подарю тебе цветы
И к щеке твоей рывком
Прислонюсь седым виском.

Образ матери возникает и при созерцании закатного солнца. Ему обязаны своим появлением чудесные строчки стихотворения «Был вечер...», которое привожу целиком:

Был вечер...
Тихо за окном,
Вполжизни солнышко светило.
Мне было дорого оно,
Как всё теряющее силу,
Стоящее у рубежа,
Где кротость и прощанье слиты,
Куда бросается душа
Для состраданья и защиты.

Я почему-то вспомнил сад,
И зарастающую тропку,
И долгий материнский взгляд,
Как солнце нынешнее, робкий,
И уходящий сквозь года
В страну, где холодно и пусто...

Всего лишь вечер был,
Когда
Щемящее рванулось чувство
И оградило всех крылом...

И целый миг в припадке нежном
Никто не думал о былом
И не скорбел о неизбежном.

Знаменательно, что в том «припадке нежном», который испытал поэт, не было скорби о неизбежном. Это его подсознание говорило ему о вечности и неистребимости любви.

Такой же нежностью, сочувствием, желанием утешить и поддержать дышат стихотворения «Бабаня» и «Слушай, бабка», посвящённые бабушке поэта.

3. «Так, чтоб жизнь и красота слились в один кристалл»

Весь этот мир переживаний преподносится поэтом с большой естественностью – основой мастерства. Всё, что соприкасается с ним или попадает в поле его зрения, играет, искрится и оживает в его воображении, рождая стих, украшенный неожиданно красочными эпитетами, метафорами, метонимиями, **одушевлением** неживых предметов и пр., **что позволяет создать** очень точный и даже физически осязаемый образ описываемого. Например, в стихотворении «Из детства», полного единства переживаний разных людей, сидящих на скамье, поэт добивается одушевляя саму скамью:

Вздохнула радостно скамья
И обездоленных их всех
Преобразила. («Из детства»)

Или вот ещё один подобный пример:

И шторы дышали апрелем. («Окно было настезь»)

Причём такая персонализация или метонимия касается не только неживых предметов, но и явлений природы, описание которых обогащается ещё и совершенно неожиданными и очень живописными метафорами. Вот несколько примеров этого:

И снова осень сердце лижет
.....
О, этот прах осенних дней!
(«И снова лето в стороне»)

В этих строчках выражено всё отношение поэта к осени, которая красотой своей как бы хочет обмануть его сердце – лижет его, - но всё равно он ассоциирует её со смертью, ибо в опадающих листьях видит прах.

Или вот ещё:

«Вечер на цыпочках вышел и встал на откосе.»
(«Лоси»)

Одушевляя вечер, поэт персонализирует всю природу, а отмечая, что он вышел на цыпочках, подчёркивает таинственность и торжественность момента, то есть вечерней тишины. И таких примеров огромное множество в поэзии Грозовского. Это и

«Жарил дождь со снегом»
(«Чукотка 1985 г. Август»),

и

«Ты слышишь, друг, как ветер по деревьям
С осенних листьев собирает шум?
(«Андрею Тихонову. Ты_слышишь_друг_»),

и

«По жилам небо прокатилось
И сладкой болью занялось»,

и

«Стоял и слушал лес с его невольной,
Особенной берёзовой тоской»
(«Воспоминание о деревне»),

и

«Серый дождик разматывал плети»
(«Ветер тучи принёс»)

и так далее.

Обращают на себя внимание и употребляемые им простые и сложные эпитеты, например, такие, как:

И куст, воробьями заряженный
(«Окно было настезь»)

ИЛИ

Воробьи высоковольтные
(«Обломовский мотив»)

ИЛИ

«Жвачное стадо дождей»
(«День конституции 1989 г.»)

ИЛИ

И волны свободно бегут табунами...
(«Прожектор гуляект по тёмной волне»)

ИЛИ

«...равнину, заполненную небом до краёв»

ИЛИ

«На городских часах свернулась полночь.
Упал на крыши чёрный небосвод.»
(«На городских часах свернулась полночь»)

Но что более всего характерно для поэта, это расширенные метафоры, или целые метафорические картины, олицетворяющие природные явления и стихии. Вот, например, как живописно оживляет он тяготеющее над ним время, идентифицируя его то с чёрным клубком, то с больным стариком, то с равнодушной безмолвной тушей, то с цепким плющом:

Время чёрным клубком,

Бесконечной зимой раскатилось,
Притулилось к казарме
Дрожащим больным стариком.

На плацу улеглось
Равнодушной безмолвною тушей,
Цепким плющем вскарабкалось,
Впуталось в ниточки дня,
И повило тоскою, чернильной тоскою мне душу,
И застыла в унынии бодрая песня моя.
(«В карантине»)

А вот как ярко описывает он жаркое лето, буквально заставляя читателя погрузиться в его атмосферу:

Был август, зноем разогретый,
и, соответствуя страде,
котлеты, жаркие как лето,
шипели на сковороде.
(«Я был и ветренен, и молод»)

Но если здесь мы видим косвенное сравнение знойного лета с жарящимися котлетами, где последняя фраза выступает как бы эпитетом первой, то в стихотворении, посвящённом Андрею Шумяцкому, лето персонализируется:

Бочком, бочком, наискосок,
Почти бесследно
Прошло и лодочкой в песок
Уткнулось лето.

Но вижу: август поиссяк
И у колодца
Дежурит туча на сносях,
Вот-вот прольётся.
(«Андрею Шумяцкому»)

Под взглядом поэта всё приобретает определённый цветовой тон, поэтому почти все его стихи можно изобразить в красочных образах на полотне. Вышеприведённый отрывок, например, ассоциируется с жёлтым цветом спалённой августовской природы, который тёмная тучка на сносях только подчёркивает.

Но особенно вдохновляют поэта такие стихии, как ветер, метель, гроза. Их он изображает в полных очарования, почти сказочных образах. Вот, например, один из них, где ветер предстаёт перед нашими глазами как гоголевская нечистая сила:

«Молодой лохматый ветер
Свил на дереве гнездо.
Вспыхнул дуб недобрым шумом,
Взвился леший на дыбы.
Поползла по древу дума
О превратностях судьбы»
(«Нечистая сила»)

Или вот ещё один его образ. Здесь поэт опять ассоциирует ветер с нечистой колдовской силой:

В городе колдун колдует.
В подворотне ветер дует.

Снег взвивается спиралью
В гущу снегоносных стай»
(«Суббота в конце октября»)

В стихотворении «Призрак», навеянном метелью, последняя опять-таки предстаёт в таинственных образах, создающих даже ощущение жути:

Была метель, и мне казалось,
Что на сугробах шерсть вздымалась,
Казалось там
Медведи белые лежали
И ветры белые бежали
По их хребтам.

И тень пронизывалась тенью,
И мир, закрученный метелью
В огромный жгут,
Шипел и двигался со злобой
И чудилось, что те сугробы
Вот-вот пойдут...

А стихотворение «Как апельсин в руках у негра» представляет собой прямо-таки гогеновское полотно и как бы просит кисти художника. Привожу его целиком:

Как апельсин в руках у негра,
В лиловых тучах у земли
Лежало солнце...
Гасло небо,
Густели сумерки вдали.

Тоска по прожитому дню,
найдя надёжное жилище,
свернулась псом у костровища
Спиной к закатному огню.

Сквозь вечереющий покой
Дневные проступали пятна,
И я прощался сам с собой
Мучительно и невозвратно.

Поэт прощается сам с собой, потому что он каждый вечер как бы умирает, причём умирает навсегда, так как вечер напоминает ему о бренности его жизни на земле. Но точно так же он каждое утро возрождается и празднует жизнь, которой по большому счёту тоже нет конца.

Очень часто наблюдения поэта оформляются в грандиозные звуковые и образные полотна, и читатель оказывается как бы перед панорамой описываемого как свидетель происходящего. Одним из таких полотен является стихотворение «Ужалила молния землю» - настоящий поэтический шедевр, который не только видишь и слышишь, но и ощущаешь физически:

Ужалила молния землю,
На миг озаряя поля,
И мощь раскалённого стебля
Впитала ночная земля.

Твердыня её задрожала.
Мы видели с братом вдвоём,

Как плоть огненного жала
Она поглотила живьём.

Как будто бы рухнула рядом
Небес вековая стена.
Над нами могучим разрядом
Прошла грозовая волна.

Она раскатилась лихо,
Из молнии вытряхнув злость,
И вновь стало сонно и тихо.
И всё на душе улеглось.

О чём-то мы с братом мечтали,
До неба мечты возводя.
И долго, счастливые, спали
Под шум проливного дождя.

Вместе с очевидцами мы наблюдаем живьём эту мистическую борьбу, или этот мистический брак земли и неба, разрешившийся, наконец, успокаивающим проливным дождём.

Гром и молния из всех стихий природы, кажется, более всего сродни поэту. Их мощь он, видимо, ассоциирует с творчеством Создателя. Наблюдая за ними, он ощущает себя живущим и действующим сотворцом Божьим. Но когда действие это прекращается, он сникает.

Пока во мгле предгрозовой,
Набухшей духотой и паром,
Гром громыхал по круговой,
Покуда ветер сам не свой
Гонял чертей по тротуарам,
Пока мечталось на авось,
Покуда молния мгновенно
Энергетическую злость
Преображала вдохновенно
В восторг потусторонних сил,
Готовых бить во что попало, -
До той поры я счастлив был...
Покуда ливень не пролил...

А как пролил, так грустно стало...

Достойны кисти живописца и два «по-григовски» замечательных стихотворения. Одно из них - «Крик» - символизирует кажущийся безответным крик живой души, томящейся в земных тисках, и шаткое успокоение с надеждой.

Над грудью северного моря
Поморник жалобно кричал,
И крик его до плоскогорий
Пустых и мрачных долетал.

В верховье дня дрожало утро,
Заря в медлительный пейзаж
Вплелась.
И море поминутно
Швыряло вздох на сонный кряж.

И птичья жалоба казалась

Тем бесполезней и чудней,
Что столько криков разбивалось
О твердь надменную камней,
О молчаливую бесстрастность...

И всё же странно: камни те
Рождали смертную причастность
К живому крику в пустоте.
И тень от скал, расправив крылья,
Без сил вдоль дремлющей земли
Легла.

И было то бессилье
Сродни признанию в любви...

Если здесь, персонализируя море, поэт пишет, что оно поминутно швыряло вздох на сонный, бесстрастный, надменный и молчаливый кряж, то в следующем стихотворении - «Безлюдье. Сумерки. И скалы» - он уже слышит слово, произнесённое морем:

«Безлюдье. Сумерки. И скалы.
И – редко – птичий визг издалека.
Над морем северным закат растёкся алый
И пламенеют облака.

Гремит волна, накатывая сон
На берег тёмный и кремнистый.
Смешались звуки. Шорохи и свисты
Со всех доносятся сторон.

Ленивая оранжевая чайка
Горит в лучах закатного огня,
И крепнет гул, и слышится «прощ-щ-айте!»
В шипенье пены на камнях.»

Всё, что ни создаёт Грозовский, дышит внутренней торжественностью и полно смысла. Очень часто стихи его самым естественным образом превращают нас в свидетелей совершающегося таинства. В этом смысле очень характерно стихотворение «Первый снег», в котором тишина снегопада представляется нам как самое настоящее чудодейство:

«Сегодня утром выпал первый снег.
Когда он падал, было очень тихо.
Так тихо, что лифтёрша-сторожиха
Не вслух, а шёпотом сказала
«здрасьте!» мне.
И даже небеса перекрестила...»

Простота, немногословие и живописность – характерные качества поэта. Двумя «росчерками пера» он может создать определённое настроение души, не уточняя его.

«Окна восковое свеченье
И низкая хриплая дверь»
(«Окна восковое свеченье»)

В стихотворении «Вспомнил детские годочки» поэт использует словообразования, присущие детям, которые позволяют сразу же вводить читателя в мир детства и создавать определённое радостное настроение:

В детстве
утро – утреннее,
день – деннее,
ночь – ночнее,
тишнее тишина.

Здесь поэт, используя морфологические неологизмы, характерные для детского словообразования, позволяет нам самим окунуться в его атмосферу.

Подобные неологизмы есть и в других стихотворениях, служащие уже для усиления значения, например:

...При худе худо, а без худа
Ещё хужеей...
(Н.Д. «Здесь нет ни памяти, ни чуда»)

или

Древняя заныла тишь...
- Э, брат, много *хотишь*...

Одной из форм, к которым прибегает Грозовский в своих стихах, является также поговорка:

«Осторожного ума
Долго тянется зима»
(«Осторожного ума»)

Иногда, в своих стихах он прямо или косвенно обращается к поэтам прошлого. Так, в стихотворении «Грозе предстоящей и ветру виною» он перефразирует и заново осмысляет стихотворение М.Ю.Лермонтова «Тучки небесные, вечные странники»:

Грозе предстоящей и ветру виною
Вишневые тучи с зелёной каймою.
Откуда они? Что им нужно, угрюмым?
Какая зловещая гложет их дума?

Но тучи – не люди, им счастья не нужно.
И дум у них нет, и отчаянье чуждо.
Живут они в небе от бури до бури.
И сколько их было! И сколько их будет!

А в стихотворении «Прожектор гуляет по тёмной воде» он видит себя стоящим рядом с Пушкиным среди бушующей стихии и испытывающим те же чувства, которые некогда испытывал его собрат по перу, написавший стихотворение «К морю». Он ощущает такое же слияние с могучей стихией, при котором созерцатель её незаметно для себя превращается в её участника, в её двигательную силу, в её дирижёра.

И грузно вздыхает солёный простор,
И гулкое эхо доносится с гор,
И здесь среди богатырского хора
Мы с Пушкиным рядом как два дирижёра.

Наконец, поэту свойственно частое употребление цезур:

Своя ли, чужая... Не знаю...
Другая...
Кого не спроси...

При всём при том целью создания стиха, как он сам признаётся в стихотворении «Любимая! Да есть ли ты», является стремление добиться единения красоты и жизни, или, если сказать иначе, формы и её жизни, или опять же формы и духа.

Любимая! Да есть ли ты,
В кого бы я вложил
Всеядность творческой мечты
И трепет смертных сил,
Да так, чтоб жизнь и красота
Слились в один кристалл?

Как видим, и в жизни, и в творчестве поэт ищет идеальный союз, предусмотренный изначально для каждого живого существа, хотя, как мы увидим ниже, он вместе с тем нередко отрекается от этого идеала, подвигнутый отчаянием из-за невозможности его достижения. Впрочем, в стихах он очень часто его достигает.

О том, как рождается его стих, мы можем судить из слов самого поэта, который замечает, что творческие силы он черпает в созерцании природы. Например, наблюдая за «багровопенными громадами» «закатных тучных облаков», он пишет:

Громады продолжают путь.
В закатный цвет их путь окрашен.
Молчат...
*Но в том молчанье странном
Таится творческий разбег.*
И грусть становится желанной,
И счастлив слабый человек»
(«Гляжу и прикипаю взглядом»)

Итак, «творческий разбег» поэт чувствует в «молчанье странном» природы. Причиной этого является, естественно, его умение прислушиваться к тишине, вживаться в неё, становясь её частицей, и давать волю своим чувствам, которые выливаются в стих. Поэзия, по его словам, сама его находит, помимо его воли. Об этом он говорит в стихотворении «Пиши как пишется»:

Пиши как пишется...
Рассеянной душе
Движеньё дай для радости и боли.
Для встреч на запредельном рубеже...
Всё скажется твоей помимо воли.

И ты не угадаешь взлёт,
Когда, идя волной слепую,
Поэзия сама тебя найдёт.
И схлынет как волна...
Сама собою...

И тем не менее дело тут не только в созерцании, но и в думах поэта, то есть в его отношении к созерцаемому. Мы можем судить об этом по его стихотворению

«Творчество», в котором рассказывается, как тающие на стекле снежинки вызывают порождающие стих раздумья.

Так появляется произвольный стих,
Составленный из тающего снега
И дум моих.

А в стихотворении «Отражение» поэт касается хронологии рождения стиха:

Я чувствовал, когда писать не мог.
Теперь пишу, припоминая чувства.
Весь парадокс словесного искусства –
Вторичность чувств в пределах слов и строк.

Ещё стихов товарищ не читал.
Достанет ли ему воображенья
Представить в отраженьи отраженья
Живой предмет, пришедший от зеркал?

Как видим, в слове его отражается образ его чувств при созерцании чего-либо, то есть он озвучивает отражение этих чувств, родившихся, в свою очередь, вследствие отражения увиденного. О том, как он переживает рождение стиха, он говорит в стихотворении «То чувство передам едва ли»:

То чувство передам едва ли...
Среди бесчувственного дня
Как бы из юности позвали
Знакомым голосом меня.

И вот стихи...
Замена счастьем...

При этом характерно признание поэта в том, что рождение стиха воспринимается им как призыв из молодости. Это можно объяснить тем, что он воспекает жизнь, с которой ассоциирует именно молодость, - вечную молодость.

Однако, несмотря на обычную «произвольность» стиха, достижение точной передачи возникшего в уме образа нередко требует от поэта упорного, иногда даже изнурительного труда, ибо бывает и так, что образы и слова мелькают в его воображении, никак не формируясь в мысли. В стихотворении «Мне разговор о сокровенном» поэт следующим образом описывает свои ощущения в подобных случаях:

Слов смертоносное круженье
страшной объятий и страстей.
Оно несет изнеможенье
душе,
которая пустей,
чем... я не знаю... эта бочка,
с полгода высохшая как.

О том же он говорит и в стихотворении «С шести часов утра работал дворник».

А я в лирическом недуге
Маячил у окна как тень
И, чуть не лопнув от натуги,
Две строчки сочинил за день.

Две строчки... то-то и оно-то...
А он расчистил целый двор.
Но он ушёл. Конец работы.
А я вот маюсь до сих пор.

Но когда он достигает желаемого, счастье наполняет его душу, покрывая собой все тяготы, связанные с рождением стиха. В уже упомянутом стихотворении «То чувство передам едва ли», он говорит:

Я забываю в те мгновенья
Земную брентную между
И странное успокоенье
В летящих звуках нахожу.

И сам себе кажусь я частью
Забвением рождённых строк.
Стихи, стихи... Замена счастьем...
И я в душе не одинок...

Эта последняя фраза, касающаяся одиночества, не случайна, ибо счастье – это когда ты не один, когда тебя понимают и когда ты чувствуешь себя частью окружающей тебя жизни, в которой ты на месте, и тебе удобно и радостно. Но поэт всегда в конфликте с миром, далеко не таким, каков он в его воображении. Он живёт в иных пределах, образ которых был вложен в его душу изначально. Конфликт этот обязан тому, что душа оказалась пленницей брентности, убивающей человека и делающей иллюзорным всякое счастье.... кроме того, которое он испытывает при сочинении стихов, то есть находясь в творческом запале. Но тем грустнее ему, что то, что рождается в такой радости в нём, оказывается мало понятным другим и мало кому нужным. В стихотворении «Под заунывный ветра свист» он констатирует горький для себя факт:

Стихи и так читают мало,
Зато поэтов пруд пруди.

А в очень грустном стихотворении «Заловлю одинокую душу» он с горькой иронией замечает, как мало людей, способных мыслить духовно, видеть то, что находится за пределами видимости, для которых душа и дух ничего иного не значат, как только ветер и пустоту:

Заловлю одинокую душу,
Запримечу доверчивый взгляд.
И заставлю стихи свои слушать
Про любовь, нелюбовь – всё подряд.

И уверует глупая баба,
Будто что-то неладно со мной,
Будто впрямь я несчастный и слабый
И какой-то ужасно родной.

И забудет она о поэте
И захочет родное спасти.
Глядь, а нет никого... Только ветер...
Густо в сердце, да пусто в горсти.

В итоге, не зная, для кого он пишет, поэт в стихотворении «Обломовский мотив» с печалью сравнивает себя с Обломовым – ненужным в мире человеком - и обращаясь к нему, говорит:

Я, как и Вы, фосфоресцирую
И сам не знаю для кого...

И тем не менее он мечтает, что найдётся человек, который поймёт его, серьёзно отнесётся к его стихам и поймёт, что они пишутся не просто так. Об этом он говорит в стихотворении «Под заунывный ветра свист»:

Стихи... Но думается всё же
(честолюбивые мечты),
Что кто-нибудь прочесть их сможет
И то, что это будешь ты.

И ты поверишь в этот ветер
И скажешь мне сквозь ночь и мрак,
Что я не зря живу на свете
И что стихи – не просто так...

Размышляя о месте поэта, он отмечает, скорее, отсутствие его в мирской жизни. Он не борец и не политик. Его участие в круговороте событий ограничивается лишь созданием образов, напоминающих людям о том единстве формы и духа, которым объединено всё по-настоящему живое в первозданной природе и которому должен был бы соответствовать также каждый человек. В нижеприводимом стихотворении он выражает свой взгляд на суть поэта.

Поэт не тот, кто в рифму пишет,
а чьи стихи судьбою дышат,
нелепой, может быть, судьбой...

Он не святой, он чаще грешный,
в благополучье неуспешный
и не зовущий за толпой
бежать под громкие знамена.

Но он поэт, им растворенно
командует исподтишка
стихия образа живого,
где рыбкой серебрится слово
в волне родного языка.

Более того, он отделяет путь поэта от поисков обманного земного счастья. Он чувствует себя опущенным в земной мир для искупительного страдания, ибо, как он сам говорит, он пришёл лишь воспеть счастье, а не быть счастливым.

Поэт не должен быть счастливым.
Иной ему назначен путь.
Житейским благом боязливым
Поэта вам не обмануть.

Ему смешны условия ваши.
В земные пущенный края,
Он призван отхлебнуть из чаши,
Из горькой чаши бытия.

И тем слышней его участие

В круговороте лет и зим,
Что он ВОСПЕТЬ приходит
счастье,
А не воспользоваться им.

Итак, своё высшее призванье поэт видит в создании образов совершенной красоты, а также в воздействии на умы людей через иллюстрацию бестолковости их жизни, - и больше ни в чём. В стихотворении «Есть в жизни высшее призванье» он пишет:

Есть в жизни высшее призванье,
Могучее, как торжество:
Идти и чувствовать дыханье,
И не разгадывать его.

И жизнь прожить, как ветер в поле,
Всего коснувшись налету,
И в тишине безвестной доли
Взрастить мечту.

И с высоты влюблённым оком
Окинуть терем обжитой;
И умереть, не став пророком
Или судьёй.

Хотя поэт не претендует быть пророком, он, фактически, хочет жить, как жили пророки в окружении природы, ибо именно она является источником его вдохновения и дум. Эту тягу поэта к природе хорошо выражает его стихотворение «Куда я поеду – я знаю куда», где он пишет:

«И буду я слушать ручья воркотню,
К живому и мёртвому душу склоню;
И город забуду в какой стороне
И думать не буду о прожитом дне»

4. «Тайна мира»

Теперь, когда мы ознакомились с самой светлой составляющей поэзии Михаила Грозовского, перейдём к рассмотрению второго её мотива – той «космической» печали, которая рождается в нём от присутствия смерти в жизни человека и природы. Факт её существования приводит его к глубокому внутреннему конфликту, ибо жизнь, уже сама по себе отрицающая смерть, оказывается подверженной времени, то есть отрицающей свою же суть, а длительностью своей напоминающей всего лишь дуновение ветра. Вот как поэт описывает весь её круг:

И вдруг – как дуновение:
рождение, детства блик,
мечта, любви горение,
ещё два-три мгновения –
и вот уж я старик.
(Из стихотворения «Третья тишина»)

Неумолимый образ старости изображён им во многих стихотворениях, например, таких, как «Нищая», «Старухи», «Прощение», «Сморчки – весенние грибы».

Каждое из них достойно полотна художника и дышит подспудным неразрешённым вопросом: почему? что это?

Видя, как с ходом времени стареют его любимые друзья, и осознавая в глубине души всю очевидную абсурдность этого отцветания перед лицом жизни, он хочет всё повернуть вспять и говорит в сердцах:

Хотелось жизнь переиграть,
И мёртвых воскресить хотелось,
И самому не умирать.
(«День внешне выглядел суровым»)

В другом стихотворении («Шумный день, а вечер тихий») он объясняет:

Просто хочется возврата
Ко всему, что уткло,

Та же мысль звучит и в послании к «В. Сапронову», где поэт как бы хочет усилием воли задержать время:

Пусть мы с тобой не навсегда
В земные спущены владенья.
Давай отменим паспорта
И позабудем дни рожденья!...

Неизбежность смерти даже вызывает нечто вроде бунта в его душе, когда он в бессилии восклицает:

«Уйти бы, из времени выпасть
И жить бы себе без затей...»
(«День конституции 1989 г.»)

Старость, уход из жизни в воображении поэта чаще всего ассоциируются с осенью. В чудесном стихотворении «Ещё не всё» поэт как бы цепляется за оставшиеся следы лета и вместе с тем просит прощения у осени за то, что так её страшится, что так печален для него её приход.

Теми же мотивами ознаменовано стихотворение «Подражая Роберту Бернсу», где поэт идентифицирует себя с тонким стебельком поникшего цветка, ставшего жертвой осени, которая высосала весь жизненный сок и у леса, и у пастбища, и у сада. Поэтому осень для него, как он пишет в стихотворении «Снова осень, снова слякоть» - это «время пить, молчать и плакать».

Наблюдая за осенним листопадом, он то завидует упавшим листьям в том, что они ничего не чувствуют и не понимают -

Им хорошо. Они не дышат.
Им никогда не испытать,
Что это значит: видеть, слышать,
Предчувствовать и понимать.
(«Прижался ухом лист зелёный»), -

то в их спокойном падении видит знак того, что они что-то знают. Тогда поэту кажется, что вся природа пропитана знанием, которого человек лишён:

Смотри, как просто листья опадают.
Как будто впрямь они такое знают,

чего не знаешь ты, не знаю я...
(«Андрею Тихонову»)

Но, теряясь в догадках, в другом стихотворении, наоборот, предполагает, что смысл всего этого, неведомый звезде, доступен лишь человеку:

И ропщет, и летает,
И мечется везде,
И ловит смысл тайный,
Неведомый звезде.

О наличии этого смысла как некоей тайны мира он говорит, например, в стихотворении «Лес осенью 8 октября», посвящённом М. Беспалову:

«На торжестве губительного пира
Среди лесной осенней пестроты
Глубинную немую тайну мира
Вдруг ощущаешь судорожно ты.»

Эту тайну в стихотворении «Пророк» он называет «великой тайной Земли», которую, по его мнению, человечество испокон веков пытается расшифровать, но тщетно...

Понимаю: заложники все мы
красоты и утраты земной.
Это старая-старая тема,
это спор человека с луной.
(«Полнолуние. Август. Звучанье»)

Как и его предшественники, поэт пытается разгадать её, понять, в чём смысл существования? Где его следует искать: на небе ли, на земле ли?

Но вот, ни на небе он его не находит, ни на земле. Я уже отмечала его стихотворение «Уйду в года годов, века веков», где потусторонний мир предстаёт перед ним как место, где есть лишь тоска по земле и ничего сверхъестественного. В стихотворении же «Не за горами мой уход» он объясняет переход в него, как переход

в звук иной,
в иные числа,
в стихию бездны проливной,
где всё – без смысла,
без дна, без плоти, без огня,
без капли влажной,...

- то есть туда, где нет жизни... Но, хотя на земле есть и плоть, и огонь, и влага, - и на ней он не находит смысла. Отмечая всю бессмысленность, жестокость и гибельность мира, который создал человек, он воспринимает его в чисто борхесовском духе - как «траурное эхо» «обезумевшего века», сопровождающееся «божьем смехом» («Когда сквозь траурное эхо»).

В результате этого Бог понимается им как некто, кто никак не может наладить порядок на земле, то есть как ещё один человек, которому свойственно ошибаться. Эта мысль вложена поэтом в уста старого друга, который говорит ему:

И понимаю вдруг,
Что и у Господа в дому

Всё валится из рук,
Что в бездну целая страна
Катится калачом
(«Исповедь старого друга»)

К тому же с Богом здесь путается земная страна.
А в стихотворении «Конец света» Бог даже выглядит безжалостным губителем людей.

Если жизнь, меняя формы,
предлагает нам благá,
а убийство входит в норму,
с другом путая врага,

значит, Богу, и подавно,
мир не следует жалеть,
значит, исподволь, неявно
все хотим мы умереть.

Если в гибели планеты
мы лишь зрители кино,
то конец такого света
наступил уже давно.

Посмотрите, как поспешно
разбегается молва
о приходе тьмы крошечной...

*Значит, истина права.
Значит, Бог не возражает
против жертв в себе самом
и людей уничтожает
их же собственным умом.*

Однако, думаю, что не следует путать Бога с дьяволом. Творец не уничтожает, а попускает по Ему одному известным причинам. Уничтожает же дьявол через самость людей, которая по большому счёту не признаёт ни братства, ни какой-либо любви, кроме любви к себе и своему.

В стихотворении «Гляжу и прикипаю взглядом», наблюдая за «багровопенными громадами» «закатных тучных облаков» и не умея объяснить присутствие такой красоты в несовершенном мире, то есть, не умея связать красоту со смыслом, не видя её логики, поэт с грустью в душе констатирует:

Художник! Не ищи в судьбе
Холодный смысл жизни брэнной!

И тем не менее он его ищет. Ищет в любви, дружбе, труде, с которыми связывает своё представление о жизни и в которых предчувствует искомый смысл. В стихотворении к брату он пишет:

Но снова, понимаешь, снова
Простого, вечного, земного
Хочу сквозь глупые года:
Любви, и дружбы, и труда,
И новой веры... Чую смутно
И сомневаюсь поминутно...
(«Юрке»)

А в стихотворении «Альберту Трошину», где персонифицируются разные деревья, ясно проявляется мысль о том, что любовь и братство заложены в человеке, и лишь осознание смертности разделяет людей.

«Задумались листья о братстве:
берёза, осина и клён»

- они задумались о братстве, пока цвели, но когда осенний ветер оголил их ветви, то есть когда их тронула беда, они разъединились, и каждый стал думать о своём.

«Остались в пустыющем мире
Берёза, осина и клён,
А дума спорхнула на землю,
и каждый вздохнул о своём»

Видя эту разрозненность людей перед лицом косящей их смерти, он в стихотворении «А ничего такого не случилось» говорит об «огромной безнаказанности мира», под небосводом которого

Лишь смерть срывает главный куш.
(«Когда б сквозь траурное эхо»)

В стихотворении «Муравейник», наблюдая за стройной и мудрой формой муравейника, поэт, не видя ни в чём цели, не угадывает её даже в его мудрой форме и заключает в отчаянии:

А цель... Да нет её от веку,
А если есть, то всё равно
Ни муравью, ни человеку
Об этом ведать не дано.

Он видит, как мир ранит и убивает живую душу, полную любви, и она чахнет, как никому не нужный цветок. В стихотворении «Я вспомнил ласковое слово» он пишет:

Я вспомнил ласковое слово.
Но здесь, среди казённых лиц,
Как средь камней и черепиц,
Всё было мрачно и сурово.

И, не найдя тепла ни в ком,
Я пожалел, что слово это
В душе моей под каплей света
Произросло скупым цветком.

И что душа? Она, скорбя,
Тотчас окраску изменила
И капельку самой себя
В себе самой похоронила.

О том же он говорит в стихотворении «Юрке», посвящённом брату. В нём он с горечью замечает, что ни душа живая, ни мысль никому не нужны в грохоте мира

Взгляни на мир, мой смертный брат,
Как в нём живое чувство тонет,

Как, замирая, тихо стонет
Душа...
Прислушайся: разлад...
Мысль глохнет в шуме бесполезном.
Гремит, грохочет ком железный,
Грозит всё уничтожить в прах
И позабыть...

Этот железный грохот, наверное, можно было бы назвать грохотом цивилизации, стремящейся к изобилию. Но вот в стихотворении, посвященном Ирине Васильевне Скарлат, поэт связывает «изобилие» с «глухотой души». Хотя речь в нём идёт об изобилии плодов земли, вывод поэта относится к изобилию вообще.

Пасмурный августа день.
Райский лик предосеннего сада.
Спелая тяжесть плодов.
Изобилье.
Души глухота.

Ведь в самом деле, физическое удовлетворение не оставляет места для потребностей души.

Во всём этом диссонансе между жизнью в себе, - то есть жизнью как понятие отрицающее смерть, - и наличием в мире смерти, поэт чувствует какую-то проклятость, но причину этой проклятости он объясняет чьей-то мстостью за разум человеческий. Он говорит об этом в стихотворении «Набухли тревожные тучи», где отмечает нависшее над миром

...Проклятье особого рода
В отместку за разум людской...

... хотя, казалось бы, было бы более естественным связывать это проклятье не с разумом, а с неразумием человеческим, ибо, если в основе жизни лежит любовь, то она и есть разум жизни. Тогда в основе проклятия, естественно, должно лежать спровоцировавшее его неразумие. Но поэт сгоряча делает следующий вывод:

О. Жизнь! Дрожащая спираль
меж граней вечной пустоты.
Запретную раздвинув даль,
Я заглянул за край черты.

Там в ожидании конца
Лежала гибельная мгла.
У смерти не было лица...

То был какой-то сгусток зла,
Перед которым отступил
И дух, и пыл, и разум мой.
Я, задохнувшись, ощутил,
Что я лишь ВРЕМЕННО живой.

И вечный проклял я покой
И выбрал боль в земной судьбе...
И жизнь врачующей рукой
Меня приблизила к себе.

О, жизнь!..

Здесь явно выражается смешение поэтом понятий, когда покой принимается за непокой, за «сгусток зла», хотя именно зло есть непокой, а жизнь связывается с земным несовершенным существованием. В этом вечном, проклятом покое поэт видит истину, то есть он её видит там, где, как он думает, нет человека. В стихотворении «Где море, где волны одна за одной» он так и говорит:

Там истина рядом. Там нет человека

То есть истина в смерти. Эту же мысль он подтверждает в стихотворении «Стою на мостике знакомом», где говорит:

Что правда? Вглядываюсь – вижу:
Чем ближе к правде, тем грустней.

Поэтому эту правду он называет «чёрной правдой», которая напоминает ему о себе каждый раз в день его рождения. Стихотворение так и называется - «День рождения». В нём он говорит:

«И чёрную правду нет сил превозмочь.
Она в эту ночь отовсюду видна.
Назад обернёшься – воронка одна.

И сам я меж этих рождений и дат
Пропал, как без вести пропавший солдат...
Отчаянно в комнате сердце стучит...

Провидевший правду о правде молчит...»

Этому фону тоски и отчаянья обязано и появление стихотворения «Грустно, знаешь... И водка не греет»:

Грустно, знаешь... И водка не греет...
Я сегодня увидел в бреду
Тень свою над могилой своею,
Белый снег и ночную звезду.

Снег лежал как ни в чём не бывало.
Неподвижно сияла звезда.
Только тень твоя тихо летала
И клялась не забыть никогда...

Глубинная тоска перерождается в опустошающий беспочвенный страх, который испытывает поэт. Он проявляется, например, в стихотворении «В сторожке». А в стихотворении «Темнота. Такая темень, словно чёрный свет закапали в глаза» он прямо говорит об этом:

Страх внутри и пустота снаружи...
Так и жду, что схватят в тишине
И начнут терзать чужие души,
Ощупью бредущие ко мне.

Страх этот преследует его даже во сне. В стихотворении «Расстрел» он рассказывает:

Сон снился, будто бы из мглы,
Похожей на клочок рассвета,
Четыре хмурых силуэта
В меня нацелили стволы.
Расстрел!

Какова бы ни была реальная причина этого страха, корень его во внутренней тоске поэта, которая приводит его даже к тому, что он то ли задумывается о совершении непоправимого шага, то ли желает конца своей жизни. Об этом его стихотворение «Вот и кончается мой путь», которое он заключает следующим образом:

Четыре шага под уклон,
и – в лодочку прыжок.
Перевези меня, Харон,
на дальний бережок!

И тем не менее, вопреки этой понятой наоборот «правде», в стихотворении «Есть только жизнь – и больше ничего» он утверждает именно жизнь.

Есть только жизнь – и больше ничего.
Я сделал шаг из детства своего
и оказался будто бы за дверью
в кругу потерь, где, милая, поверь мне,
есть только жизнь – и больше ничего.

Есть только жизнь – и больше ничего.
Я изменил и цвет, и вещество,
я сильным стал, таким, как ты хотела,
но из всего, что мне не надоело,
есть только жизнь – и больше ничего.

Есть только жизнь – и больше ничего.
Мгновения хватает одного,
чтобы понять, не разумом так сердцем,
что от потерь единственное средство
есть только жизнь – и больше ничего.

Понимает ли он под жизнью тот временный отрезок жизни, который даётся всякой твари, или нечто большее, – не ясно. Но вот из стихотворения «Мои друзья казаться стали мне шумными» можно заключить, что эта самая жизнь протекает лишь во сне, ибо не блоковский покой снится поэту, а только радость:

А коли так – одна забота:
Искать мажорное во сне,
Чтоб что-то радостное, что-то
Весёлое приснилось мне»

В стихотворении же «Ночные голоса», написанном в стиле русских сказаний, он как бы перефразирует вечный русский вопрос – не кому на Руси жить хорошо, а где жить хорошо. И делает вывод, что жить хорошо лишь во сне, в некоем гордом пространстве. Однако и этот вывод его не удовлетворяет, потому что, как он сам говорит,

Но даже там, в пространстве гордом,
Душа забыться не вольна.....»

Ясно, что за этим мнимым «весёлым» скрывается образ того мира, которого хочет душа поэта. Мир этот, вопреки его вышеприведённым утверждениям о проклятости покоя, полон гармонии, а значит, покоя и согласия между друзьями и в природе.

Хотя бы краешком одним,
минуткою одной
мне захотелось в чудный мир,
воображенный мной.

Вот так с друзьями посидеть
и пригласить подруг,
а рядом рыбка, и медведь,
и речка, и бамбук...
(«Сидел бамбуковый медведь»)

Поэт, к сожалению, не спрашивает себя: а откуда даётся ему этот воображаемый покой, где его истоки? Он путает миры, и истоки жизни в себе связывает с преходящим.

Мечту об ином, светлом и тихом мире он выражает и в стихотворении «Когда неторопливое свеченье», но опять-таки без ясного представления о корнях этого воображаемого мира:

Когда неторопливое свеченье
Рассеянно струится из луны,
Мне всё далёкие мерещатся кочевья,
Куски нездешней светлой тишиты.

И каждый раз, входя в пространство это,
В стихию лунного полуживого света,
В предел иного бытия,
Я чувствую, как тает мысль моя.

Душа звенит в глухом просторе ночи
И в слове воплотить себя не хочет.
И дышат звёзды сами по себе
И о моей не думают судьбе.

Склонилось низко небо надо мною.
Глаза привыкли к звёздной глубине.
Иная жизнь. И бытие иное.
Я в нём или оно во мне?

В этом стихотворении, в частности в последнем его вопросе, поэт явно приближается к истине, но, к сожалению, не даёт себе в этом отчёта.

Весь переживаемый им духовный конфликт между жизнью и смертью, вся эта, по словам поэта, «космическая печаль» (Я знаю: и тогда, вначале), ставшая причиной мучительных раздумий, сомнений и отчаянных поисков истины приводит его, наконец, к определённым прозрениям, благодаря которым он как бы опровергает некоторые свои прежние утверждения. Одно из таких прозрений касается жизни. В стихотворении «Прощусь с тобой» он отмечает:

«Ведь жизнь – она совсем не то,
Что думаешь о ней»

Ясно, что эти слова уже сами по себе означают наличие некоей подкладки в понимании жизни. О какой именно подкладке можно говорить, становится ясно из стихотворения «Познай себя, познай себя! *nosce te ipsum*»

...В глубинах мыслящей души
мучительно таю
сознание, *что прожил жизнь,*
да только не свою.
Я целый мир хотел обнять,
а понял лишь одно,
что делать дело и понять
себя в нем не дано.
Порою хочется забыть
тот путь, что пройден зря.
Ведь жизнь могла иною быть...
Но где она - моя?..

Итак, думая, что проживает свою жизнь, поэт на самом деле прожил не свою жизнь. Его жизнь была в любви, которой он целый мир хотел обнять, но мир не позволил ему этого сделать, и он прожил чужую жизнь, такую, какую требовал от него мир. Однако та, его настоящая жизнь тоже есть, но он не знает, где...

В стихотворении «Вот я подошёл к черте» он в этом же духе пишет о своём чувстве, что он «на этом свете жил не там... и не тогда...»

В стихотворении «Любимая! Да есть ли ты» он пишет как бы вдогонку за Шиллером и Тютчевым, сказавшими, что «мысль изречённая есть ложь»:

Но – воплощённая мечта
Уже не идеал

Не знаю, отдавал ли он себе отчёт в том, что дух ему говорил, но уже одна эта фраза подразумевает наличие двух жизней: идеальной и прожитой, иными словами, своей и чужой, представляющей собой искривлённое отражение идеала, или криво воплощённый идеал. К сожалению, будучи исполнен образом идеальной жизни, он почти не задумывается о нём или задумывается лишь немного, не задавая себе вопроса, что же такое идеал, на чём он основан и откуда тянется его дым.

Следующее прозрение поэта касается мудрости земной. В стихотворении «Андрею Тихонову» он, называя мир сомнительным и зыбким, таким же считает мудрость его:

...Напоминает миру без конца,
Что он сомнителен и зыбок,
Что жизнь любого мудреца
Есть сумма всех его ошибок,

Чисто психологически можно утверждать, что своими ошибками человек обязан своим чувствам, своему эго, которые чаще всего вводят его в соблазн самообольщения. А вот в стихотворении «И выпадает на землю снег» он замечает, кажется, иную мудрость, настоящую, лишённую страстей, когда говорит,

Что мудрость – холодолюбива.

Однако она его не привлекает, и он пишет:

На декабре замрёт страница,
И зябко станет оттого»

Таким же провидческим является стихотворение «Игра судьбы. Случайный миг», вероятно, обращённое к умершему другу или умершей подруге, которому/ой он говорит:

«А образ твой живёт как жил
Внутри меня и вне меня»

Это, фактически, признание в божественной любви, соединившей в безгрешном браке две сути: дух – ибо что у нас внутри, как не дух, - и душу, - ибо где живёт дух, как не в душе. Это полное взаимопризнание души и духа, их совершенное единство.

Та же мысль прослеживается и в замечательном стихотворении «Памяти поэта В. Любимцева», в котором как бы противопоставляются две реальности: земная и небесная, причём, как оказывается, небесная (или потусторонняя) уже не так страшна поэту.

Журавль, пролетая над крышей,
Окликнул в дорогу его.
Он умер и сразу стал выше
Земного житья своего.

И ветры забвенья подули,
И, хмурый предчувствуя день,
На землю синицы спорхнули
В его осторожную тень.

Они от невзгоды спасались,
А он всё верней уходил,
Как будто хотел с небесами
Остаться один на один.

Эпиграфом к этому стихотворению поэт взял известную пословицу: *«Лучше синица в руках, чем журавль в небе»*. Но мысль его как бы опровергает её, ибо синицы, живя в земном мире, подвержены страху, и защиту ищут в его тени, тогда как друг, который предпочёл журавля, стремится в небо уверенно и без страха. И, как замечает поэт, смерть возвысила его: «он умер и сразу стал выше земного житья своего». Почему это так? Возможно, ответ на этот вопрос содержит стихотворение «Прощание», в котором душа живого человека предстаёт как бы в тюрьме.

Лишь душа, что ведьма на метле.
Ей, подруге, на любой земле
Тесно в человеческой тюрьме.

...Вот такое, значит, резюме...

Эти слова проливают свет на то, почему умерший друг так уверенно уходил в небеса. Он освободился из тюрьмы, в которую была заключена его душа, как и всякая другая на земле. Хотя тюрьму эту можно было бы истолковать и как человеческое окружение, но вот стихотворение «И жизнь не поворотишь вспять»

свидетельствует о том, что имеется в виду именно смертная оболочка души, ибо в нём поэт говорит, что «не извлечь на свет души, скорбящей взаперти». О том же свидетельствует и стихотворение «Сегодня над атомным веком», где он выражает следующее желание:

Пусть вырвется из оболочки
На волю живая душа!»

Именно эта оболочка повинна в причастности к земному мытарству небесной души, о чём он говорит в стихотворении «Когда б сквозь траурное эхо»:

И в той глуши, как в тёмном царстве,
Дрожит на лезвии ножа
Причастная к земным мытарствам
Твоя небесная душа.

Как бы противореча своему же собственному утверждению, что за гробом одна лишь пустота, поэт вдруг пишет брату:

Мы расстались при жизни.
И это, братан,
Нам с тобой обернётся невстречей там.
Вот – обидно до жути.

Мысль, выраженная в этом отрезке уже предполагает жизнь за пределами жизни на земле, в которой, однако, братья не встретятся, потому что разошлись ещё живя на земле.

Очень интересно своим выводом и стихотворение «Всё как в древности: ночь да деревня», ибо в нём примиренье со всякой судьбой поэт называет... «чудом прозренья».

(О ветре)
«Он поёт, а она втихомолку,
Прижимая ребёнка к себе,
Богу молится...
- Бабушка, волки!
- Что ты, милая, ветер в трубе...

Всё как в древности: дикое пенье,
Ожиданья тягучий застой;
И над всем, словно чудо прозренья,
Примиренье с любой судьбой.»

Что заставило поэта так написать? Вероятнее всего то, что в основе примиренья с любой судьбой лежит ненасилие. Ведь насилие совершается с целью достичь каких-то благ. Но, как оказывается, блага не достигаются ненасилием. Поэтому в стихотворении «Поле чудес» выигранную блатную путёвку к каким-нибудь «египетским сфинксам, в банановый рай неземной» поэт называет «*мнимой* радостью в судьбе».

Затем любопытно также четверостишие «Песня», написанное в духе русского фольклора:

*Света – не светит,
Маня – не манит,
Катя – не катит,
Люба – не любит...*

Оно свидетельствует о том, что человек даже не замечает, как все он использует слова, не сосредотачиваясь на их смысле и создавая пустые образы, противоречащие слову жизни, которое заключается в единстве мысли и выражающей её формы. Кстати, нераздельность их поэт отмечает и в стихотворении «Муравейник», вопреки своему же утверждению, что «цели нет от веку» ни в чём, потому что отмеченные в нём «смысл и форма в нераздельности своей» уже и есть цель:

И он стоит, как божья норма
Меж пятен света и теней,
К стволу прижавшись...*Смысл и форма*
В неразделимости своей.

К тому же именно образ взаимоотражения мысли и формы рождает в подсознании поэта и следующие два стихотворения

Как на самом краешке беды
Я искал признанья у звезды,
А она глядела в воду с неба
И глядела в небо из воды.

Между глубиной и высотой,
Между бездной той и бездной той
Я искал признания и смысла,
Да беда на ниточке повисла...

Здесь поэт предчувствует мистическую связь между звездой на небе и её отражением в воде, но она не проявляется перед ним в полной мере.

Тот же мотив мы находим в стихотворении «Стою на мостике знакомом»:

Стою на мостике знакомом.
Гляжу в глаза студёных вод
И вижу небо – тот же омут
Лишь глубиной наоборот.

А смысл в том, что мир земной, хотя и должен был отразить создавшую его мысль, не сделал этого вследствие добровольного искажения этой мысли, причиной которого стала гордость и отсутствие любви к Создателю. Ведь любовь, создающая образ мысли, никогда не искажает её, а отражает в абсолютной точности. Искажает же этот образ лишь эго человеческое. Поэтому здесь предполагается чистота отражения или нерукотворная чистота любви, которую, - не знаю, сознательно или подсознательно, - но очень хорошо отразил поэт в стихотворении «Два окна»

Её окно. Моё окно.
Друг друга знаем мы давно.
Живём напротив. Мне она
в прямоугольнике окна
всегда видна.

И это лучше, чем кино.
Она глядит в мое окно,
а я - в её. Глядим вдвоём.
И нашим чувством упоён

микрорайон.

Но ничего не решено.
Должно быть, так и суждено
Друг с другом быть наедине,
Но только ей в своём, а мне
В своём окне.

Выше я говорила о замечании поэта в стихотворении «Любимая! Да есть ли ты» о том, что «воплощённая мечта уже не идеал». Эта мысль созвучна приведённому стихотворению. Чтобы идеал оставался идеалом, человеческая рука не должна дотрагиваться до него. Подспудно об этом догадывается и поэт, когда в стихотворении «Вышли в ночь. Луна светила» говорит:

Среди звёзд в тиши лесной
ты была со мною рядом
и как будто не со мной,

и в накатах тайной дрожи,
в волнах юного тепла
*становилась тем дороже,
чем бестрепетней была.*

Здесь поэт отмечает тот факт, что, хотя подруга была рядом с ним, как будто её и не было. Причиной этому была её бестрепетность. И чем бестрепетней она была, тем была ему дороже. В самом деле, страсть разрушает образ, а бестрепетность проявляет его в чистом нерукотворном виде. Поэт как созерцатель понял это.

Наконец, поистине провидческими являются два следующих стихотворения, которые как бы представляют собой вывод, итог, озарение, посетившее любящее сердце поэта, закалившееся в муках сомнений и ошибок. Первое из них называется «Скажи, старик, какую мерой». Я привожу его целиком

- Скажи, старик, какую мерой
Воздать за пролитую кровь?
Что стоит эта ваша вера
В свободу, братство и любовь,

Когда аресты и кошмары
Под знаком этих же идей
прошли?...

Скажи, какая кара
За кровь невинную людей?

-

Вот ты от имени страны
Винных ищешь... Но послушай:
На свете нет чужой вины,
А та, что есть – не греет душу.

*В себе самом ищи ответ.
Живи у совести на страже.*
Живи! – в сердцах добавил дед. –
И жить-то не жил, а туда же...

На все земные мытарства человека, ищущего справедливость, здесь единственно верный ответ: «На свете нет чужой вины» и «В себе самом ищи ответ. Живи у совести на страже».

И второе совершенно замечательное стихотворение, которое я тоже привожу целиком:

Однажды взгляну без усилий
На всё, что утратил давно.
И станут дороже, чем были,
Обнявшись и слившись в одно,

Свои и чужие народы,
Повитые смертной судьбой.
И дума, как призрак исхода,
Взойдёт над моей головой.

Вот так, среди пёстро́го шума,
Где всяк себе свой интерес
Находит,
Вдруг явится дума
И вторгнется в тело небес.

И будет она как расплата
За дерзкую прожитость дней,
И станем мы все виноваты
За жизнь и за небо над ней.

Здесь, хочется надеяться, что поэт предвосхищает образ истинного мира и отделяет его от того, чужого, который замещает его. Образ жизни, заложенный в богосозданных душах – это образ любви, в которой нет никакой вражды, ни между людьми, ни между животными, ни между народами, ощущающими своё родство и единство. Это внезапное осознание вины всех, повитых смертной судьбой. Это постижение истинного исхода, который может быть только духовным, связанным с осознанием гибельности видимого мира, в котором мы живём, и мысленным самоотстранением от его соблазнов.

5. «В пространстве меж богом и чёртом»

Все эти вопросы и прозрения естественным образом ведут к мысли о Боге. Что же всё-таки думает о Нём поэт?

Отношение к Богу у него весьма неоднозначное и даже противоречивое. Иногда он проявляет сомнение в Его существовании:

О, святой Боже! Если ты
в каком-то виде есть, (Памяти Ирины»)

Чаще не может определиться, какой вере следовать. Так, в стихотворении «Козлёночком замекал» он пишет:

Есть Мекка у чучмека.
Где Мекка у меня?

.....

Ищу... не знаю, прямо...
Иисус ли? Магомет?

Неужто, так, без храма,
как тень сойду на нет

А в стихотворении «О пользе восточных учений» он заинтересовывается учением Конфуция, созвучным с учением Христа. Он видит в нём импонирующую ему совесть Востока и замечает его бóльшую древность по сравнению с учением Христа:

И всё – до нашей эры.
Задолго до Христа.

То ученье
Задолго до Христа.

При этом он не принимает во внимание, что слово Христос означает Мессию, воплощение Божье. А это значит, что *всё созвучное с Его учением*, что когда-либо было передано через людей, исполненных Божьим духом, принадлежит Ему, как принадлежит Ему и всё сказанное библейскими пророками.

Учению Конфуция он противопоставляет «наших мудрецов»:

А что же век от века
У наших мудрецов?

Идей коловращенье,
Брожение кровей,
Да пафос обличенья, да страх за сыновей,
Что шествуют верхами
В беспамятстве имён
И сытыми волками
Глядят на ход времён.

И умывают руки...
И заматают след...

И всё-таки сквозь муки
С Востока брезжит свет.

Такая неопределённость заставляет его то объявлять о своём неверии в Бога, то о своей вере в Него. Так в стихотворении «Солнце к вечеру слабеет... » он объявляет, что Бога нет:

«Солнце к вечеру слабеет.»
Над Москвой полугона.
Бога нет, но грустью веет...
Грустью, зыбкой как волна»

О том же сообщается и в стихотворении «Родина»:

«В бога не верую, смерти боюсь...»

Но вот в стихотворении «Дети неба» картина несколько меняется. Хотя в нём он снова повторяет, что Бога нет, и тем не менее посвящает его неким

отвлечённым небесным созданиям, встретив взгляд которых, человек оставляет своего «человеческого зверя» и облагораживается. А это уже преддверие веры.

Кто однажды взгляд их встретит,

Взгляд отверженный, хрустальный,
Тот печаль свою поверит
И уйдёт, в ночи оставив

Человеческого зверя.

Но неверие поэта в Бога, как увидим, непостоянно и обуславливается победой или поражением в нём плотских страстей, ведущих борьбу с требованиями Закона Божьего. Поэт как бы качается на волнах этой борьбы. В стихотворении «Внимала Русь Илариону» он, по-своему понимая смысл благодати, пишет:

Душа закону вопреки
Блаженствует в местах нестрогих

Но благодать не может быть вопреки закону, ибо она и есть Закон, ставший сутью человека и поэтому переставший быть насилием над его волей. Закон дан грешникам, а благодать – тем, кто воплотил в себе закон, то есть понял его суть, полюбил его и теперь уже иначе, чем как по Закону и жить-то не может.

Тем не менее, как я уже сказала, есть у поэта и немало стихотворений, которые, вопреки вышеприведённым, свидетельствуют о его вере в Бога. Так, в стихотворении «Воспоминания о Чукотке», в котором, несмотря на данный ему гордый совет «Не верь, не бойся, не проси», он говорит:

... не олеговы твержу
глаголы наизусть
а сил у Господа прошу,
И верю, и боюсь,
И в каждый вслушиваюсь звук,
дойдя до неба вплоть(...)»

В стихотворении «Ночью вскакиваю (...)» он пишет о некоем зовущем его голосе, который он услышал ночью. Не зная, откуда он исходит, он заключает, что это был голос Бога:

Кто же? Кто?
Ведь я же слышал!
Незнакомец бы не мог
твердо так, так ясно: «Миша!»
Значит, свыше...
Значит, Бог...

Но более чётко он проявляет свою веру, кажется, в стихотворении «Наедине с самим собой», где он задумывается о посмертном разговоре с Богом и предстоящем суде, который раскроет ему его самого.

Наедине с самим собой –
А это с каждым днём всё чаще –
Я думаю о встрече той,
Неумолимо предстоящей,

Когда придёт незримый Бог
Моих раскаяний в приливе.
«Кого ты, - спросит, - уберёт?»
«Кого ты, - спросит, - осчастливил?»

А я ответить не смогу
И, распрощавшись с небесами,
Начну, старик, по потолку
Водить бесцветными глазами.

И, подведя итог судьбе,
Сквозь жизни выжженные дыры
С последним содроганьем мира
Узнаю правду о себе.

И всё-таки у поэта не сложилось чёткой идеи относительно Бога. В своих стихотворениях он постоянно противоречит себе. Так в стихотворении «Я был плохим, я был хорошим», с одной стороны, он, имея в виду дарованную ему любовь, говорит, что

Её к себе не манит
недостижимый идеал.
Там все равны, но ... после смерти...

из чего мы можем сделать вывод, что манит её лишь то, что достижимо, то есть земное, тем более, что, как сам поэт утверждает в этом же стихотворении, его любовь «живёт от Бога в стороне», то есть речь здесь идёт о плотской любви. А с другой стороны, противопоставляя этому потустороннему идеалу земную жизнь, он говорит:

А здесь, где храмы на крови,
где человеком бездна вертит,
свобода равенства не терпит,
а уж тем более любви...

По строению стиха следует предположить, что речь идёт о той же плотской любви, которая «живёт от Бога в стороне», следовательно, должна принадлежать земле. Но по смыслу получается, что её не терпит земной мир. А это значит, что в этом случае имеется в виду духовная любовь. Это два разных понятия о любви, однако поэт их смешивает. Причина – неясность в представлении о Боге. То он в гордости своей борется с Ним, то смиренно молится Ему.

Судя по стихотворению «Мои мечты совсем не те (...)», он понимает величие Божье.

Своей мечте я не родня.
Её мне много.
Не злись... Там даже нет меня.
Там – образ Бога.

Из сна приходит моего,
из вод летейских.
И ей не надо ничего
от благ житейских.

Мечта здесь олицетворяет мир Божий, где обитает лишь образ Божий, который духовен и которому «не надо ничего от благ житейских». Поэт оттого не родня

своей мечте, что предпочитает не духовное, а плотское и нуждается в благах житейских. Но вместе с тем он называет своей мечтой то место, где образ Божий. А это значит, что душа поэта раздвоена. Она между синицей в руках и журавлем в небе выбирает синицу. Но и красота журавля его влечёт. Поэтому он в некоторых стихотворениях проявляет как бы непослушание Богу, действует наперекор Ему, вопреки Его законам.

Так в стихотворении «Когда б не надо умирать (...)», рождённом, как видно, сочувствием к страданию друга, поэт говорит в пику Богу:

...Однако время.
И уже
Не для игры и не для виду
Ни грусть, ни ревность, ни обиду
Не позабуду...
И со зла
Скажу (пусть Бог меня осудит),
Что эта жизнь уже была,
А той, другой, уже не будет...

А вот стихотворение «А над гнездом вороньим (...)» звучит совершенно иначе:

А над гнездом вороньим,
Чуть слева от гнезда
Зажглась потусторонняя,
Ничейная звезда.

Признаться, до рождения
Звезды я не просил
У неба снисхождения...

Хватало бранных сил
Ходить своей пустынею,
Латать свою судьбу,

*А тут – сменил гордыню я
На тихую мольбу,
Которая касалась
И друга, и врага...*

*И оттого казалась
Возвышенно-строга
Светящаяся в кроне
Ничейная звезда.*

Там, над гнездом вороньим,
Чуть слева от гнезда...

В стихотворении же, посвящённом В. Черпаку, он объявляет о своей вере в воскресение, хотя (видимо, понимая его в плотском смысле) сам же осмеивает её:

«Одно и осталось, что место,
Где, выказав дурь на миру,
Я верю, что завтра воскресну,
Как только сегодня умру» (.)

Не найдя в своих поисках истины однозначного ответа, поэт тем не менее верно охарактеризовал мир, в котором мы живём. Вот как он пишет об этом в стихотворении «Памяти Ирины»:

В пространстве меж богом и чёртом,
в боренье идей мировых
благие мечтания стёрты,
и надо быть, видимо, мёртвым,
чтоб не устыдиться живых.

И надо быть райскою птицей,
чтоб всё это видеть и петь,
и в мумию не обратиться.

Пространство меж богом и чёртом – это тот мир, который избрал человек, вкусив, вопреки наказу Создателя от Древа познания добра и зла. Этот момент поэтом описан с потрясающей силой в стихотворении «Я расшатал опору ночи», хотя, образ этот был получен им извне, так как чётких выводов, исходящих из этого факта, он так и не сделал.

Я расшатал опору ночи.
И вылез бодрствующий гад
Из тёмных недр
И что есть мочи
Ужалил землю наугад...
И скрылся...
И душа в неволе
Зашевелилась тяжело.
А сердце мучилось от боли
И жить без боли не могло.

Человек вошёл именно в тот мир, где добро и зло живут рядом, и это был его выбор. Вернётся ли он к Древу Жизни, зависит только от его веры и от его привязанности к этому двуликому миру. Что касается поэта, то, выстрадав всё, присущее этому миру зло, он не находит уже в нём никакой привлекательности для себя. Об этом наиболее ярко он говорит в стихотворении «Апокалипсис», где отмечая даже абсурдность человеческой «науки», заключает:

... Скорбная водица
Из чаши выпита до дна.
И упаси меня родиться,
Господь, в другие времена.

Я исчерпал свою дорогу
И встретил всех до одного
И между дьяволом и Богом
Болтаться знаю каково.

6. «И собой научат грустного меня»

Кроме рассмотренных двух основных тем, поэзия Михаила Грозовского богата ещё и множеством других подтем, разворачивающихся на фоне главных.

Одной из таковых является тема животных. Им (а также птицам и насекомым) он посвятил немало стихотворений, основной характерной чертой которых является то, что он пишет о них с позиций их души, тогда как форма, вид, порода мало его занимают. Важно лишь наличие в них души, которая, как и душа человека, страдает, будучи заложницей смертной плоти и смертного мира. Этот общий для человека и животных фактор страдания вкупе с фактором радости жизни и объединяет поэта с ними.

Когда-то Господь создал Адама – вселенскую душу – как образ и подобие Своё. Будучи вселенской, душа Адама должна была включать в себя всю Вселенную, а значит, и души всех прочих тварей. И чтобы Адам мог жить, он должен был заботиться обо всех их как о себе самом, ибо они составляли неразрывную часть его. Но он нарушил этот завет Создателя и стал истреблять их, не понимая, что тем самым он истребляет самого себя.

У Грозовского, как я об этом уже говорила, сохранилось это первозданное чувство единства всех душ в человеке и любви и уважения к каждой из них, даже к... бородавочнику:

И пусть снаружи
неказисты, неуклюжи
бородавочки те,
дело тут не в красоте,
а в природе.
А в природе
место есть любой породе.

Он наблюдает за ними с восхищением

Мама и сын.
Горбоносые стройные оба.
Вынесли в город дыханье свободы и хвои.
Что-то почуяли. Перемахнули сугробы.
Скрылись, как будто исчезли.
Свободные. Двое.
(«Лоси»),

с нежностью и любовью

Забить ли тот хлеб, раскуроченный грубо?
Как брали его лошадиные губы,
к ладони моей прикасаясь слегка...
...И сердце забудет,
да вспомнит рука...
(«Лошадка»),

с трепетным отношением к их особенностям

Весной глухаря
оглушает любовь.
Руками бери,
но и душу готовь
к тому, чтоб услышав
романс глухаря,
влюбленную птицу
не тронуть зазря.
(«Глухарь»)

Он помогает им или пытается помочь, как может, говорит с ними на равных («Заболела наша кошка (...)»), «Мёрзнет голубь на земле(...)») («Кот», «Как-то ночью в пол-второго(...)» и др.), вникает в их душу («Скулила собака на заднем дворе», «Бражник», «Волки», «Разговор пьяного с собакой», «Пятно» и др.), наконец, он учится у них не унывать

Прилетит синичка
сальце поклевать.
И у ней привычка
Жить – не унывать.

Соберутся в кучу,
прыгая, звеня...
*И собой научат
грустного меня.,*

учится верности и любви

Пес по запаху скучает.
Пес других не замечает.
Он в любое время дня
ждет хозяина.
Меня.

А меня все нет и нет.
Перед дверью в кабинет
пес лежит и морду щучит.
Ждет.
Меня собою учит...

И вместе с тем, видя жестокую действительность их жизни, он, в общем, не вмешивается в неё, оставаясь просто грустным созерцателем неотвратимого, иногда даже машинальным виновником его. Отдавая себе отчет в том, что он не в состоянии что-либо изменить в ходе их жизни, он с печалью в сердце принимает действительность такой, какова она есть. Он не революционер, не призывает к бессмысленной борьбе с химерами...

И всё-таки... он борец. Но борец особого рода. Его ненавязчивая борьба заключается в любви к каждому живому существу, к привлечению внимания людей к жестокости их отношения к прочим душам, их обычаям, их нравам, уничтожающих всё вокруг себя, и одновременно к схожести души животного с душой человека, которую последний в гордости своей просто не хочет замечать. Наконец, он обращает внимание на абсурдность и жестокость жизнеустройства вообще. Сам поэт при этом не выделяет себя, не отрицает и своего участия в этом всеобщем абсурде. Его «я» или его эго иногда как будто и вовсе не существуют. Он просто часть всего и, очевидно, что в глубине души оплакивает свою невольную вовлечённость в жестокость мира. Так в стихотворении «Весёлая сойка» чётко видна «раздвоенность» поэта, который с одной стороны, участвуя в охоте, убивает сойку, а с другой тоскует по поводу её гибели.

Веселая сойка,
Убитая мною.
Зарытая мною
В снегу под сосною.

Мне друг говорит:
"Несъедобная птица".
От свежего выстрела
Гильза дымится.

"Считай, – говорит, –
Что стрелял вхолостую".
А сойкино место
На ветке пустоует.

Тоску и абсурдность он показывает без лишних слов, с помощью одной лишь фразы: «А сойкино место на ветке пустоует».

Ту же боль мы чувствуем в стихотворении «Стрела», которое предваряет следующей записью: *«Есть волшебная сказка, что заколдованного оленя минуют направленные в него стрелы».*

Стрела, остановись! Повисни на мгновенье!
Потом ударишь ты пугливого оленя
В горячий нервный бок.
Потом, посланница жестокой дерзкой воли,
Падёт олень и, затрубив от боли,
Кроваво напоит песок.

Мгновенье – и конец. Мгновенье – ликование.
А я внутри оленьего страданья
Готов поверить в заповедный сказ.
Но чуда нет. Одно лишь есть – мгновенье.
Я удержал его, чтоб немощною тенью
С оленьих скрыться глаз.

Не совсем понятно здесь, сам ли поэт является охотником или кто-то другой, но присутствие его во время охоты несомненно, и боль оленя отдаётся болью именно в его душе, именно он буквально цепляется за слабую надежду, что пуля минует оленя, и он останется невредим; именно он хочет скрыться с глаз умирающего оленя, томимый совестью, потому что не видит никакого оправдания убийству. При этом, как я уже сказала, он не валит вину на других, а берёт её на себя. Он участник или невольный свидетель, а не судья.

Вообще все его стихи, относящиеся к охоте на животных, оказывают сильное воздействие на читателя. Характерным в них является контраст между ликованием охотников, убивших животное, и предсмертной болью последнего; между его присутствием в природе и внезапным исчезновением из неё. «Мгновенье – и конец. Мгновенье – ликование», - подчёркивает он в вышеприведённом стихе. С таким же контрастом мы сталкиваемся в стихотворении «Охота на волка»

«... И кто-то счастливый с тяжёлою ношей
Вернётся домой по февральской пороше
И пир созовёт.
И пойдёт славословье.
И победоносно сшибутся стаканы.

В лесу же три маленькx пятнышка крови

Темнеть от звериной останутся раны.

А ночью бесшумно, безвольно, опрятно
Сойдут снегопады глубокие с неба,
И все неприглядные тёмные пятна
Засыплет дремучим нетающим снегом.»

От волка, который был и которого уже нет, остались три маленьких пятнышка крови. Даже сама природа стыдливо спешит стереть следы злодеяний человека.

В другом стихотворении «Волк» он пишет:

«Бах!» – и нету волка.
«Бах!» – и нет.
А должен быть.

А в стихотворении «Кабан» замечает:

На кабана разрешена
Погоня и охота.
Но жизнь - одна.
И смерть - одна.
Тебе решать за кабана.
Решай!
Твоя забота.

Так ненавязчиво, ни на что не претендуя и никого не обвиняя, поэт заставляет задуматься над абсурдностью мира, над тем, что делает человек, и понять, что ничто не может оправдать лишение жизни кого бы то ни было, будь то человек или животное.

В стихотворении «Лиса» он обращает внимание на то, как беспечно и бездумно носят люди меховые воротники, не задумываясь над тем, что это кожа убитого ради этой цели животного. Но делает это в форме разговора с погибшим животным в лице мехового воротника девицы. Абсурдную жестокость он показывает тайным желанием, чтобы животное ожило и бежало, спасая свою жизнь, от девицы, использующей его шкуру и мех в качестве воротника.:

Лисица-сестрица!
Тебе не годится
лежать на плечах
у вальяжной девицы.

Ты спрыгни!
Пускай ее плечи пока
немного побудут
без воротника.

Блесни рыжиной
у нее перед взором!
Тропинкой лесной
уходи в свою нору!

Беги!
Огонечком хвоста
по пути
сверкни у куста
и следы замети!

Констатируя порочный круг земной жизни и собственную вовлечённость в него, он пишет одно из самых впечатляющих своих стихотворений о животных - «И жизнь не поворишь вспять, и жить неволю»:

И жизнь не поворишь вспять,
И жить неволю,
И кошка черная опять
Рождает черноту.

Пять новорожденных котят
И скопище хлопот.
И это пятый год подряд.
И так – три раза в год.

Слепых котят ценою мук
От кошки уношу
И дело человеческих рук
Страдальчески вершу.

И той же самою рукой
Для кошки брать иду
В кошачьей лавке дорогой
Кошачью еду.

А дома изумленный взгляд
Передо мной горит.
- Ты утопил моих котят, -
Мне кошка говорит.

Я насыпаю “kite-kat”
В тарелку из горсти.
Я знаю, мне прощенья нет,
Но я шепчу: “прости”.

Она не трогает еды
Четыре дня подряд.
“Ты, - плачет в голос, - это ты
Убил моих котят”.

И залезает под тахту.
И, даже если лечь,
То кошку, шаря темноту,
Оттуда не извлечь.

Как не извлечь на свет души,
Скорбящей взаперти,
И на вопрос как дальше жить
Ответа не найти.

Поэт говорит на равных с кошкой, глубоко осознавая свою вину перед ней, - вину, корни которой находятся не только в нём, но и вне его, в мире, устроенном так, что создания Божьи мешают друг другу жить, и их уничтожение часто и во многом считается оправданным с точки зрения особого положения, которое человек занимает в животном мире. Но осознание этого приобретает искривлённый характер, и человек с пренебрежением относится к прочим созданиям, считая себя вправе судить о них и распоряжаться их жизнью.

В другом стихотворении - «Пёс» - поэт как бы говорит: не судите с пренебрежением о животных, об их породе. Сосредоточьтесь на их душе,

поставьте себя на их место, ведь боль, которую испытывают они, ничуть не меньше той, которую испытываем мы. И это относится не только к физической боли, но и к боли душевной. А в стихотворении «Петух» он показывает разные точки зрения на жизнь петуха: для старой хозяйки жизнь эта ничего не стоит, так как он плохо топчет кур. А с позиций самого петуха - жизнь его бесценна, плохи же куры. Та же мысль, кажется, заложена и в стихотворении «Бычок», которого передовик Вовка привязал на верёвку. Для людей Вовка – передовик, а для бычка он – тиран, лишивший его свободы.

Кажется, тут нет виноватых, и вместе с тем тут все виноваты, но это уже вопрос философский. Можно говорить о том, что все виноваты друг перед другом и всё, что получают, получают в конечном счёте по заслугам. Эта мысль красной нитью проходит в стихотворениях «Комар» и «Машины мчат, шоссе утюжат», которые показывают, что кровожадность любого живого существа рано или поздно стоит ему жизни.

Все стихотворения, посвящённые животным, чрезвычайно трогательны и хороши, как для взрослых, так и для детей.

7. «Я сам такой же человечий, мятежный и заблудший зверь»

Другой обширной составляющей поэзии Михаила Грозовского является любовь к женщине. В восприятии этой любви поэт также неоднозначен. Любовь, как он сам считает, данная ему свыше, предстаёт, однако, перед ним в двух обликах, которые часто сливаются в его воображении, - в облике физической страсти и в облике духовного поклонения. Любовь в облике физической страсти в свою очередь переживается им в двух качествах: в качестве «влюблённости впопыхах»,

Опять влюбился впопыхах.
(«Любил я девушку одну»), -

которую, впрочем, он не называет любовью, а, скорее, игрой:

Но любовью
Я не зову игру.
(«Ко мне по первопутку»);

и в качестве собственно страсти, которую он иногда путает с любовью. Во имя страсти он готов преступить даже вечный Закон. О такой страсти он говорит, например, в стихотворении «Лицо египетской богини (...)», в котором, поражённый её красотой, пишет:

пусть я в запретные владенья
вошёл – но мимо не пройду!,
пусть самый миг грехопаденья
мне подтвердит, что я в аду

Фактически, он говорит, что никакие запреты его не остановят, не заставят его пройти мимо её красоты, даже если это будет грозить ему грехопадением и адом.

О том же в порыве страсти он говорит в стихотворении «И понял я: бессмертия не будет»:

Пусть вечное гуляет в стороне,
когда царит мгновение земное

Такими мгновениями были означены все молодые годы поэта. Он описывает их, например, в стихотворении «Ну что за чёрт (...)»:

Была там скромница одна...
Как пили – помню не вполне...
.....
А там – всего одна кровать.
Ведь шёл домой я, видит Бог!
Эх, кабы ведать, кабы знать
Секрет своих дурацких ног...

Или в стихотворении «А в памяти – Хамовники (...)»

А в памяти – Хамовники...
Былых деньков курьёз:
“Мы что теперь, любовники?” -
спросила ты всерьёз.

Всё та же песня-дудочка:
две рюмки в кабачке –
и вот уж я на удочке,
точнее, на крючке.

Стишки, смешки да денежки,
люлёк да трулялёк...
И никуда не денешься:
сам встретил, сам увлёк.

Ах, чур моя ошибочка!
Чур понарошку!
Но
зачем тогда улыбочки,
цветочки и вино?

Зачем тогда Хамовники?
Зачем стихи тогда?
“Мы что теперь, любовники?”
И я киваю “Да”.

При этом он отдавал себе отчёт в пустоте многих женщин, в которых влюбляется на один день.

«Дудки, – думал, – убегу я
от тебя!», –
вчера другую
возводил на пьедестал.
Чуть не умер, так устал.

Встал, гляжу: в окне снаружи
снова жизнь.
Что может хуже
быть для злейшего ума,
чем живейшая сама
жизнь?
Идет себе, блистая,
молодая и пустая...
Ну, а я несу цветы
к пьедесталу пустоты.

Но, несмотря на понимание этого он всё-таки был во власти тайных мыслей и соблазнов. Всё вокруг их провоцировало, особенно весной. Вот как он пишет об этом, например, в стихотворении «Воспоминание о 60-х»

Ночь городская одичала.
Терзая слух, из темноты
Орут апрельские коты.
То мира женское начало
Цветёт в упругой их крови...

Мужским призывом разогреты,
Примчались кошки...
Рядом где-то
Сидят и чуют прах любви.
И стонут.
Господи, спаси
От мыслей и соблазнов тайных!

Эти соблазны так бывали сильны, что ни дружба, ни брачные обязательства не могли их остановить. В стихотворениях «Сейчас давнишнюю затею», «Влюбился в любовницу друга», «Другу», «Когда я Машу обнимаю» и др. поэт, хотя и с неизменным чувством вины, но нарушает все нормы общежития, установленные Богом и людьми.

Когда я Машу обнимаю,
Я всё, конечно, понимаю;
Что не моя она жена
И что моя во всём вина.
Её от мужа отлучая,
(я это тоже отмечаю),
Что я подлец и что я лгу.

Влюблённый в любовницу друга и лицемера перед ним, он сам себя называет прохвостом:

И, главное дело, едва ли
Не первый приветствую тост
За дружбу.
Такие морали...
Такой, понимаешь, прохвост...

При этом он не отказывался от роли соблазнителя. В стихотворении «Как я Анечку утешал», мучительно сознавая, что обманывает женщину, он всё-таки продолжает своё недоброе дело, хотя и вместе с тем безжалостно бичует себя за это:

Как я Анечку утешал!
- Анечка, - говорил, - милая,
Ведь ты такая красавица,
Через год ты окончишь техникум;
Ну скажи, ну чего хорошего
Ты нашла во мне, неудачнике?!

Слышу: лгу себе лютым образом;
Тлеют уголья потаённые.

Раздуваю жар, изуверствую:

и в конце концов заключает:

Провалиться бы мне, подлому.
Не смущать бы чужой юности!...

Эти укоры совести обязаны осознанию поэтом того, что бушующие в нём силы являются «тёмными», и что сам он – как «заблудший зверь»:

Я сам такой же человеческий
Мятежный и заблудший зверь, («Другу»)

И тем не менее он признавался, что

... нет дороже ничего
Восторга тёмных сил...
(«Та, прежняя, кого во сне»)

Но вот в стихотворении «Вновь образ твой привиделся во сне (...)», где он очень красочно описывая зверя, просыпающегося в страсти, проявляет желание покончить с такой любовью:

В бездонной и свирепой глубине
Любовь и ненависть сошлись как псы на мясо.

Глаза у псов пьянеюще-желты.
Который раз их стравливаешь ты.
А я всё жду, когда, насытись кровью,
Они уйдут в глубоководье лет,
И я вздохну: «Покончено с любовью...
Как хорошо... И ненависти нет».

И, вероятно, это ему удаётся, так как позже, оглядываясь назад на все эти безумства, он объясняет их молодостью и ветреностью:

Я был и ветренен, и молод,
я был готов, как лев к броску,
я, чувствуя любовный голод,
был слаб на женскую тоску.

А на предложение страсти уже отвечает:

Давно не брежу кровью
И жертвы не беру.
(«Ко мне по первопутку»)

В стихотворении «Апокалипсис», подводя итог своей жизни, он говорит, что не хочет её повторения, потому что видит в ней ... «дуроломство»:

И снова бабы да знакомства,
Где кроме как для дуроломства
И слёз со смехом не сгожусь.
(«Апокалипсис»)

Но главное заключение его жизни относительно любви к женщине он сделал в стихотворении «М.Зурину»

Я всё слежу с раскрытым ртом,
Как жизнь очерчивает круги:
Сначала верный друг,
Потом
Мечта о женщине,
Потом
Потребность в женщинах,
Потом
Потребность в старом верном друге.

Таким образом, в зрелом возрасте потребность в друге он уже ставит выше потребности в женщине, а это значит, что, видя главное зерно любви в духовной связи, даёт предпочтение дружбе. А любовь он характеризует теперь как «самовольную муку», как

Тот высокий и жертвенный плен,
Ни улыбки, ни взгляда. Ни звука –
Ничего не просящий взамен.
(«Всё приемлю: и дар, и бездарность»)

Но это уже созерцательная любовь, когда предпочтение даётся духовному созерцанию, а не физическому обладанию. В этом поэт сам признаётся в стихотворении «Твой образ», где он говорит:

Поверишь, о потерянном скорбя,
Я образ твой люблю сильнее тебя.

Любовь как бы становится нерукотворной. Это тот же мотив, с которым мы уже встречались в стихотворении «Два окна».

8. «Русские сфинксы»

Как созерцатель Грозовский подмечает и психологические особенности людей. В связи с основной волнующей поэта темой старения и смерти в его поэзии особенно проникновенны старческие образы. Старость – загадка перед лицом цветущей жизни, нонсенс, нечто таинственное и непостижимое – предстаёт в образе старух, которых поэт не непосредственно, но уподобляет египетским сфинксам

Где русские сфинксы – старухи
Сидят на скамье у крыльца. («Поле чудес»)

В стихотворении «Старухи» он пишет:

Я вижу их, рядом сидящих
Старух на самом склоне лет.
Спокойных, будто бы хранящих
В душе бессмертия обет.

Я вижу их далёким зреньем.
Кого, скажите, им винить?
С какой тоской, с каким мученьем
Их думы ветхие сравнить?

О, эти вещи старухи

Одним лишь видом говорят,
Что наша боль – ещё не муки,
Что муки только впереди...

Они сидят как напоминание одновременно и о бренности, и о вечности, которая темна для поэта, но не вызывают у него отторжения. Наоборот, он относится к ним с нежностью и пониманием. Самые трогательные его стихи посвящены им. Это и стихотворение «Из детства», в котором он с психологической тонкостью наблюдает за сменой настроения сидящих на скамье старух в связи с воспоминаниями. Это и стихотворение «Позабыли бабку внуки (...)» о старушке, которая, чтобы только пообщаться, вызывает на дом участкового врача.

Врач приходит. Для начала
Долго с бабкой говорит.
А и вправду полегчало!
День за окнами стоит.

Это и стихотворение «Бабаня», посвящённое бабушке поэта, в котором он, замечая неугасимую тоску бабани, пытается утешить её:

Всё смотрит и смотрит...
Чего она высмотреть хочет?
А впрочем, не всё ли теперь ей, старухе, равно...
Проснётся и сядет. И будет сидеть среди ночи.
Две капельки глаз водянисто устави́т в окно
И будет молчать.
Уж давно приутихло мерцанье
Стремительных лет, и остался обычный удел:
Бессонная ночь, ненасытная страсть созерцанья
И мир, что доселе ещё надоест не успел.

-Ну что ты, бабаня? –
Со дна подымается смуга.
И вызволить нечем. И тяжело, и суетно мне.
И хочется встать
И прощенья просить почему-то...
Всё смотрит и смотрит...
Чего она видит во тьме?

Это и стихотворение «Одна в опрятной комнатухе (...)», в котором поэт, также проникшись душевным состоянием старушки, размышляет:

Одна в опрятной комнатухе
На склоне лет.
Чуть брезжит свет в душе старушки...
Чуть брезжит свет...

В её нервическое тело
Закралась дрожь.
Но жизнь... ведь ей же нет предела,
Пока живёшь...

Пока живёшь, предела нету,
И всё впервой:
И явь, и даль, и взгляд портрета
Над головой,

И потаённый отблеск чувства
Ему в ответ.
Спокойно в комнатке и пусто...
Чуть брезжит свет...

Это и почти героический образ «старухи родом из поморов» в стихотворении «Н.Д.»; это и очень трогательный образ уснувшего старика на поминках своей усопшей жены («Поминки»); это и многие другие старческие образы, которых немало в поэзии Грозовского. Впрочем, и старость бывает разная. Перед лицом неизбежной смерти некоторые озлобляются. Портрет одной такой старушки, написанный Грозовским, также достоин кисти живописца:

Старушечье жёлтое тело
И щепки пергаментных рук...
О, как она жадно глядела
На всех, кто собрался вокруг;

Как трудно она уходила
В грядущую бездну веков;
Как люто в пространство грозила
Сухой желтизной кулаков.

Когда же на смертное ложе
Слетел предназначенный час,
Застыла. И тихо, без дрожи
Живых ненавидела нас...

Но наблюдательность Грозовского, конечно же, касается не только старушек. Так, анализируя поведение женщин, он делает психологические выводы как общего, так и частного характера. Из выводов общего характера следует отметить стихотворение «Стоит женщине полюбить(...)»

Стоит женщине полюбить -
И ей плевать на тебя.
Стоит женщине разлюбить -
И ей плевать на тебя.

И хоть там сто пядей во лбу,
И хоть там пустота и свист,
Разлюбила - лети в трубу,
Пропадай, как осенний лист!

Полюбила - тогда привет!
Ничего твоего здесь нет,
И во всей вселенной она
Лишь одна, лишь себе верна.

Проникновенность поэта такова, что личность он чувствует, даже не видя её, лишь по тому, что ей принадлежит. Так в стихотворении «Общежитие» каждая деталь дома, его дверь, окна, занавески говорят о тех, кто за ними обитает:

Этот дом - общежитие женское.
Эта дверь - молчаливый призыв.
И четыре окна с занавесками,
Как четыре стеклянных слезы.

Здесь у каждой судьба перекошена.
Взгляд-то ласков, а норов-то крут.
Здесь годам на съедение брошены
Одинокие бабы живут.

А вот в стихотворении «Она была мне не верна (...)» перед нами предстаёт уже не собирательный образ женщин, а портрет одной из них, хотя с довольно типичным поведением в определённых обстоятельствах

Она была мне неверна,
Поэтому вдвойне
Была верна, была скромна
Со мной наедине.

Любя людей и внимательно относясь к ним, Грозовский не проходит мимо лиц незаметных, ничего не значащих в обществе и не понятых. Он умеет увидеть во многих из них духовно сильных личностей. Образ одного из таких персонажей изображён им, например, в стихотворении «Старик Колодин». Это ветеран, который имеет награды и носит их в кармане брюк, но никому их не показывает и на вопрос активиста, почему он не желает рассказать людям «о жизни без прикрас», отвечает «твёрдо с презрением кривым»:

«Из уваженья к мёртвым
И из любви к живым»

Другой подобный образ нарисован поэтом в стихотворении «Встреча», посвящённом Герману Белякову. Это образ такого же наблюдательного, как и Грозовский, нищего, в котором вдруг проявилась вселенская мудрость, и он сказал удручённому поэту: чтобы освободиться от тягот, отдай всё, что приобрёл и разогни спину. Вот как он описывает эту встречу:

Я слышал скорбных мыслей перезвон
Вдруг – нищий на пути.
Когда б не он,
Я перенёс бы скорбь на всю планету.

Но он моею темой пренебрёг,
И я пошёл раздумий поперёк,
Ладонь в ладонь отдал ему монету
И ощутил сопротивленья рук.

-Что, худо, друг? – спросил он.
- Худо, друг.
- А ты давай, как я, давай клин клином.
Забудь себя...возьми вот, -
И в ответ
Он протянул мне горсть своих монет
И разогнул униженную спину.

В стихотворении «Где-то около(...)» поэт рассказывает об одноногом, с которым он пил пиво и который, заметив смущённый взгляд поэта, направленный на его отрезанную около бедра ногу, прореагировал на него не завистливой злобой, а, пониманием смущения поэта и желанием подбодрить его:

Он поймал мой взгляд: «Да Бог с ним!»
Где-то около перил

Встал, в костыль упёрся локтем,
Папироску закурил.

Посреди пивного гула
Подмигнул: «Ровней дыши!»
Так сказал,
И скребануло
Где-то около души...

Ещё одному из таких людей посвящено стихотворение «Пропаций тип». Жильё его не запирается на ключ и открыто для всех в любой час дня и ночи, сам же он готов выслушать каждого, кто хочет выговориться. Вот, как поэт его характеризует:

Ему, должно быть, ведомы пути
Всех наших самых главных заблуждений.
Он любит всех. Он без предубеждений.
Пропаций тип. Полуподвальный гений.
В любой момент захочешь – и входи !

Другое стихотворение, которое называется «В Черёмушках», предстаёт перед нами, как эпическое полотно – одновременно и грустное, отражающее чудовищную реальность жизни, и светлое, освещённое светом любви, не замечающей недостатков в любимом человеке.

В Черёмушках у гастронома
Перед заснеженным крыльцом
Я видел мальчика больного
С дурным мартышечьим лицом.

В Москве трещал мороз февральский,
А он мороженое ел
И исковерканные пальцы
Дыханием холодным грел.

И всем на свете улыбался...
И грустно было наблюдать,
Как прыгал он и как кривлялся,
Завидя на ступенях мать.

В платке вигоневом, старинном,
Иконоликая, она
Шагала, улыбаясь, сыну,
Гремя посудой от вина.

И, видя радость этих двух,
Мужчины взгляды отводили,
А женщины вздыхали вслух.
«Несчастный мальчик», - говорили.

Но, наверное, главным предметом наблюдения поэта является он сам. И здесь он беспощаден, раскрывая свои собственные потаённые мысли. В стихотворении «Спасите меня, нищие(...)» он, убегая от просящих подаяния, признаётся им:

Я раньше сам,
Думая, что спасал,
Вам подавал, любя,

Спасая от вас себя.

Нынче в моём кармане
Вошь на аркане,
А вас, нищих,
Целое пепелище.

Здесь обращает на себя внимание фраза «Спасая от вас себя» как основной мотив подаяния. С таким же откровением мы встречаемся в стихотворении «Я в общем «за» (...)», обрисовывающем психологию маленького человека, и в стихотворении «Расстрел», где поэт, будучи во сне приговорён к расстрелу, даёт добро на то, чтобы участь его разделил с ним его верный друг:

И верный друг
- Откуда он? – но вырос рядом.
И разрешил ему я взглядом
Мою погибель разделить.
И в друга начали палить.

Другой пример подобной откровенности мы видим, например, в стихотворении «На храп старухи», когда, не выдерживая бессонной ночи, поэт признаётся в желании убить её:

Собака! Смерть тебе!
О, как бы я мечтал
О свёрнутом из тряпки мокром кляпе!
Его б тебе я в глотку запихал,
Чтоб ты задохлась
В собственном же храпе!

Но ненависти той простора нет.
Благой мечте не вырваться наружу.
Храпи, храпи...
Я сон твой не нарушу.
Ты будешь жить ещё миллионы лет,
А я за это прослыву гуманным...

Или же в стихотворении «У Егора – друга (...)», в котором, не зная, как помочь другу в его горе, он, хотя и охваченный чувством вины, но обходит его дом стороной:

Я его жилище
Тихой стороной
Обхожу.
Дружище,
Извини, родной...

Беспощаден автор и обрисовывая себя в состоянии алкогольного опьянения. Например, в стихотворении «Не приведи тебе Господь (...)» он говорит:

Не приведи, не дай-то, Боже,
Бродить, шатаясь, в полумгле
И, отражённую в стекле,
Вдруг пьяную увидеть рожу.

А после с видом дурака
Ждать той минуты протрезвленья,

Когда сгрызёт тебя тоска
Или общественное мнение.

Будучи мастером психологического портрета, Грозовский умеет также ярко описывать картины городской жизни. Приведу только один пример, взятый из поэмы «Пивной бар». В нём он с удивительным мастерством обрисовывает приводящие в отчаяние поездки в метро в час пик:

Затиснутый в нутро трамвая
неприхотливою толпой,
я, как приподнятая свая,
едва до пола доставая,
качался в люльке трудовой.

Топтал чужую обувь смело,
пространство требуя себе,
по-птичьему вздергивался телом,
потом затих и, грешным делом,
подумал о своей судьбе,

а также выход из него:

Вот остановка. И решенье!
Как взрыв, как вызов, как отпор.
– Вы не выходите? –
Движенье,
Потом рывок, борьба, сраженье...
Победа.
Улица.
Простор.

На приведённом примере можно увидеть многомерность его описаний, в которых, кроме точно подобранных слов, немаловажную роль играет и динамика описания, его внутренний ритм, достигнутый рядом односоставных предложений – Движенье. Победа. Улица. Простор.

9. «Для мысли и духа она мне одна не тесна»

Наконец, особое место в поэзии Грозовского занимает тема России-Руси. Ей он посвятил много стихотворений, полных раздумий над судьбой страны и её народа. В них проявляются, как родство души поэта с глубинным образом Руси, с русской душой и русской природой, так и боль за утрату этого образа в сегодняшнем мире.

Этот образ, в который он вжилась и который любит, поэт очень ярко представляет в стихотворении «Землёю и вскормлен, и взношен»:

Землёю и вскормлен, и взношен,
Я шёл по равнине родной;
И думалось мне о хорошем,
И в поле шёл дождик грибной.

Потом зашумели деревья,
Потом потянуло рекой;

Какая-то, видно, деревня,
А может быть, город какой...

И добрыми были в тот вечер
Россия и небо над ней.
Я шёл в направлении встречи.
Я встретил хороших людей.

Мы вскользь говорили, попутно
О жизни, её не кляня...
А ночью я спал. А под утро
Они провожали меня.

Три раза обняли, по-русски;
И хлеб принесли, и махру.
*И было немножечко грустно,
Что я всё беру и беру...*

Эти последние строки подчёркивают тонкость души поэта, которому больше хочется давать, а не брать. А всю свою любовь к России он выразил в одном отрывке из поэмы «Пивной бар» устами изрядно выпившего лирического героя. Но, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И здесь на языке поэта его любовь к Руси

Эх, Русь, тоска моя-зазноба!
И вправду, раззудись плечо!
Люблю вас всех! Не знаю, кто вы,
Но всех люблю любовью новой.
Мне радостно и горячо.

Я пьян, и прошлое забыто.
И душу заливают смех.
Душа звенит и бьёт копытом.
А снег идет легко, открыто,
И я целую этот снег.

– Эй, люди, ближе подходите!
Отцы мои и сыновья!
За всё простите! Всё простите!
Целуйте, бейте, что хотите...
Живьем берите! Вот он – я!

Я ваш! Не будет больше злобы!
Я богатырь! Я всё могу!

Поэтому не удивительно, что в творчестве Грозовского есть и немало стихотворений, написанных в стиле народных частушек, например:

Ох, я милого любила,
А его в Чечне убило.
Мне посмертную медаль
За него послали вдаль.

На дорогу выходила,
Во поле волчицей выла.
Волк из леса подвывал,
Воем душу обрывал... и т.д.;

в духе древнерусских сказаний:

Эх ты, пьяная слеза,
Слез мутная!
Эх ты, боль моя тоска,
Поминутная!

Эх ты, трезвая слеза,
Слез светлая!
Эх ты, боль моя тоска,
Несусветная!И т.д.

или

- Ты не бойся, не молчи,
Голубь мой, мой свет в ночи.
А скажу тебе словцо:
Вот – дорога, вот – кольцо.
Ты кольцо с собой возьмёшь –
И покатишь, и пойдёшь,
И найдёшь тот край земли,
Где как хочешь, так живи.... и т.д.
(«Ночные голоса»)

Проникновенность поэта в духовный мир Руси так велика, что нередко его стихи просто дышат присущими её духу образами, родня его с великими русскими писателями и поэтами. Так, например, чудесное стихотворение «Нечистая сила» кажется навеянным гоголевскими мотивами Прислушаемся к нему...

Ночь беды не предвещала
Ни в лесу и ни вокруг;
Не шумела, не рычала,
Не хихикала...
И вдруг

Каркнул ворон на рассвете,
Дрогнул леший под кустом,
Молодой лохматый ветер
Свил на дереве гнездо.

Вспыхнул дуб недобрым шумом,
Взвился леший на дыбы.
Поползла по древу дума
О превратностях судьбы.

Страшно стало не на шутку.
И тогда в разгаре сил
Ворон медленно и жутко
Когти в крону запустил.

Вырвал дуб легко и грубо,
Углядел в пространстве брешь,
Вместе с лешим, вместе с дубом
Полетел через рубеж

В тридевятую эпоху
В вековую старину,
В ту, где даже если плохо,
То понятно что к чему...

А вот в другом стихотворении - «19 мая 2002 г.» - слышатся уже пушкинские мотивы. Эпиграфом в нему стали строчки: «*Мчатся тучи, вьются тучи...*» из одноимённого пушкинского стихотворения. Чтобы почувствовать их духовное родство, сопоставим слова затерявшегося в поле путешественника из пушкинского стихотворения -

«Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит видно
Да кружит по сторонам.
.....
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?» -

и ощущения Михаила Грозовского холодным майским утром, когда он находился в больнице города Троицка и, чувствуя холод «под суконный взгляд небес», спрашивал себя:

Может, это
Бесы нынешнего дня
«дуют, плюют на меня»?
Всюду чудится их происк...
.....
Вот и вовсе краски смеркли.
Что там в небе? Уж не снег ли?

Снег и есть...
Идёт, внимая
Небесам, больнице, маю.
Бесы валяются на лес.

Умер кто? Или воскрес?

Объясняя в стихотворении «Шабат» свою духовную близость с Россией поэт говорит, что

... для мысли и духа
Она мне одна не тесна

И символом этого простора являются для него просторы его родины, уже сами по себе внушающие ощущение ничем не связанной свободы духа. Они рождают в нём, как и во всяком русском человеке, восторг всадника, безоглядно скачущего по раздольным степям и ассоциирующего эту скачку с ощущением безграничной свободы. Такому всаднику жизнь не дорога, наверное, потому, что он предчувствует в этот момент нечто большее, чем то, что мы привыкли называть жизнью. Возможно, что поэт, хотя и вопреки разуму, или вопреки, по выражению Державина, «дрожащей плоти», в которую одето всё живое, не может всё-таки не любить этот ничем не скованный бег и не испытывать связанный с ним безудержный восторг, ибо в стихотворении «Всадник» он пишет

.....
Жизнь на скаку не дорога!
Сквозь седока летят века,
А по бокам – просторы.

Русь! Как твой бег остановить?
И как спастись на свете?
Ты обрекла меня любить
Сию безудержную прыть,
Сей безоглядный ветер,
И смутного восторга дрожь,
И близкую утрату...

Читая это стихотворение поэта, невольно вспоминаешь другое, написанное Алексеем Константиновичем Толстым, который испытывал те же чувства, когда писал в своём стихотворении «Колокольчики мои»:

Конь мой, конь, славянский конь,
Дикий, непокорный!

Есть нам, конь, с тобой простор!
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К цели неизвестной.
Чем окончится наш бег?
Радостью ль? кручиной?
Знать не может человек -
Знает бог единый!

В обоих стихотворениях скрыт и иной смысл, относящийся к судьбе России, к той цели, к которой она стремительно летит. На пути её поэт замечает жертвенность. И хотя в другом месте он отмечает отсутствие в нём самом жертвенной любви, в природе и в русской душе, наоборот, он замечает её присутствие и даже восхищается ею. В стихотворении «Прощение», описывая опадающий осенний лес, который не ведает утрат, он сравнивает его с увядающим стариком, который, глядя в небо, верит в своё прощение и воскресение. И хотя последнее поэту кажется сказкой - «как в доброй русской сказке с хорошим золотым бесхитростным концом», - тем не менее в примирённости старика со своим увяданием он видит некую жертвенность, связанную... с бессмертием души:

Есть в жертвенности той
Этическая сила,
Которая сродни
Бессмертию души.

Об отмеченном поэтом примирении с любой судьбой в русском народе он пишет и в стихотворении «Всё как в древности»:

Всё как в древности: ночь да деревня,
Пятистенок, да печь, да окно;
Внучка с бабкою, ветер да время...
Бабка знает: уходит оно.

И не жаль, да расстаться не просто
С буйным ветром в родимом краю,
Что приносит с равнин и погостов
Одичалую песню свою.

Он поёт, а она втихомолку,
Прижимая ребёнка к себе,

Богу молится...
- Бабушка, волки!
- Что ты, милая, ветер в трубе...

Всё как в древности: дикое пенье,
Ожиданья тягучий застой;
*И над всем, словно чудо прозренья,
Примиренье с любой судьбой.*

Отношение самого поэта к этому примиренью можно увидеть в последних строках стихотворения, где это примиренье сравнивается им с «чудом прозренья». Он пишет об этом одновременно и с удивлением, и с восхищением. В самом деле, никакая борьба за улучшение судьбы не приводит к стойким результатам, да и не освобождает человека от смертности. Это понимает и поэт, когда в другом стихотворении - «В любом доме, под каждой крышей» - объясняет «примирение с любой судьбой» верой России-Руси в предопределённость утрат, которую не может отменить никакое пустословие власть имущих:

Но ты верна другой надежде,
Россия...
Из глубин веков
Ты уповаешь, как и прежде,
На баб своих и мужиков.

Как будто путь утрат извечен,
Как будто изначально он
Особой метою отмечен
И слепо предопределён.

В этом смысле знаменательно также стихотворение «Подслушанный разговор», в котором даётся ответ на вопрос, для чего или для кого Россия:

-Ту мечту на крови замесили,
Вот и вышла дурацкая смесь.

-Но скажи, если это Россия,
То тогда, для чего она есть?

-Для души, что идёт в бездорожье,
Попирая и разум, и плоть...

- Если это веление божье,
То тогда, для чего же Господь?

- Для людей!

- Не смеси... Слишком много
Мёртвых истин и мёртвых картин.

- Для чего же Россия?

- Для Бога.
Только он ей и нужен...
Один.

Итак, Россия для Бога. Живёт и думает, согласно Духу Божьему, а не согласно духу мира сего. Именно поэтому всё, что кажется в мире сём разумным, на

русской почве, как замечает поэт, судится «перевернутым судом» («Скоморохи»), то есть если весь мир думает о приобретении земных благ, то исконная Русь предпочитает им противоположные блага веры, говоря:

В нашем доме чем лучше, тем хуже.

И если во всём мире всё покупается, как ценность, на Руси наблюдается тенденция давать даром, даже если в кармане пусто:

Но смеются леса и поля,
Дескать, даром возьмёшь, а не купишь!

И несмотря на то, что поэт называет этот суд «перевернутым», сердцу его, кажется, ближе именно такой суд, связанный с верой в чудо, потому что в уже отмеченном стихотворении «Шабат» он говорит о себе:

Я чаще мечтаю о чуде,
Поскольку в России живу

и что

... российская мука
Еврейскому сердцу ясна

Он замечает все особенности русского мышления и русской веры, и, хотя сам не обладает подобной верой, которая заставляет русских поступать именно так, как они поступают, но явно симпатизирует ей. И даже более того: ему кажется, что на русской почве его еврейский ум как бы приобретает душу. Вот как он пишет об этом в стихотворении «Гляди в прямоугольник ночи»:

Гляди в прямоугольник ночи,
Но сокрушаться не спеши.
Еврейский ум на русской почве
Обрёл подобие души

И стал томлением пространства,
Тоской, которая сама
Всего лишь плод непостоянства
Мятежно-праздного ума,

Всего лишь тягостный избыток
Страны, где тлеет бытие,
Где всё, что взял – душой забыто,
А всё, что отдал – всё твоё.

С симпатией он наблюдает и за исконным воинским духом русских, о котором говорит в таких стихотворениях, как «Главная тема», «В час, когда пенсионеры(...)», «Забвение», «Похороны ветерана» и т.д. В них мы видим общую подчинённость русских людей высшей идее, которая больше их жизни на земле, а именно идее страны, почитаемой ими как посвящённой Богу. В стихотворении «Понимаю, страшно это(...)» поэт приводит слова фронтовика:

«Чёрт возьми! –
Вдруг вскричал он. –
Кто б ни начал,
Лягут русские костями!
Как в любом и каждом деле

Сто и тыщу нет назад.
...*Наших сроду не жалели.*

В общем, наши победят!»

Слова «наших сроду не жалели» говорят о вере русских в свою отчуждённость от мира, в котором они занимают положение изгоя. Но вместе с тем они верят и в мощь своей силы, с которой прочие народы не могут не считаться. Поэтому вспоминая слова Бисмарка «Русские долго запрягают и быстро едут...», поэт в стихотворении «Я, Иван, тебе скажу (...)» приводит разговор двух простых людей о том, что русские долго терпят, но когда терпение кончается, тогда уже ничто их не может остановить.

Но есть ещё одна характерная черта русского народа, которую поэт замечает. Победив в войне и оставшись в живых, русский человек чувствует вину перед теми, кому не суждено было порадоваться победе. Поэт называет её «исконной русской виной», которая возникает каждый раз при воспоминании о боевых буднях и колет сердце выживших солдат. В стихотворении «День победы» он пишет, что при праздновании победы в памяти живых возникают образы погибших, -

И в русской душе
Начинает колотья
Исконное чувство вины
За жизнь, за клочок синевы и покоя,
За памяти жертвенный прах.
И свято, и горестно...
Нечто такое,
Что кровью хранимо в веках.

Но так повелось: лишь бы родина крепла,
А мёртвых никто не считал.
И в брызгах салюта, как феникс из пепла,
Ночной вырастает квартал.

И разные думы в такие минуты
Стекаются к бездне родной.
И стонет душа. И ликуют салюты
В обнимку со скрытой виной.

Но вот в России произошли политические перемены, ознаменовавшие, по словам поэта, «конец одного и начало другого сюжета». («8 декабря 1991 года» «Зимнее утро над пущей встаёт Беловежской(...)») Сюжет этот он называет «эпосом трагедии новой». Не будучи революционером и считая стремленья последних пустыми («Рождённый образом обманном(...))», он перефразирует лермонтовский «Парус» и, противопоставив себя ему, замечает:

К мятежным бурям непричастен,
В плену призыванья своего,
Я только счастья, только счастья
Искал в отличие от него.»

(сравним с лермонтовским: «...Увы, он счастья не ищет»)

Противостоящие силы требовали от поэта определения, с кем он. Он же бежал от них, не желая никакой вражды, никакого противопоставления. В стихотворении «Ты за кого?(...)» на заданный ему аналогичный вопрос он отвечает:

«А я за этих и за тех», -
Так произнёс.

-Чего ж от этих и от тех
Ты хочешь, парень?
И вдруг ответил человек:
«А чтоб отстали» (.)

Он видит, что эпохи с пафосом сменяют друг друга, а воз, как говорится, и ныне там. Стоя у разросшегося, как море, кладбища и вспоминая горьковский девиз: «Человек – это звучит гордо», он приходит к выводу,

Что пафос двадцатого века
Избыточен и нарочит,
А горьковский гимн человеку
И вовсе фальшиво звучит.

В самом деле, о каком пафосе можно говорить, когда человек смертен, когда человечество прогрессирует только во зле, создавая разные, всё более совершенные виды взаимоуничтожающего оружия,

А до светлого братства людей
Увы, как до Бога далеко.
(«Ракеты»)

Меняющаяся Россия огорчает поэта. Это огорчение проявляется во многих его стихотворениях. Так, например, в стихотворении «На Тверском у Макдональда» поэт просто и ненавязчиво констатирует печальный факт этих перемен, лишивших народ «крыльев»:

Дай руку, старина Макдональд!
Торгуй на славу! Я не враг
Американским бутербродам.
А просто я отсюда родом,
И раньше «Лира» здесь была,
И память душу обрела,
Как будто вскинула крыла
Над обескрыленным народом.

В стихотворении «Атлантида», сравнивая и в какой-то степени отождествляя уходящую «вглубь небосвода» Россию с ушедшей под воду Атлантидой, поэт с горечью восклицает:

Хохочите и плачьте! Родней
И беспечнее негу народа.
Атлантида уходит под воду.
И смыкается вечность над ней.

Те же мотивы сожаления мы находим и в стихотворении «Родина», в котором поэт пишет:

Едешь да едешь. Поля да леса.
Нет им начала и нет им конца.
Зимнее солнце глядит на округу,
И, проводами держась друг за друга,
Цепи столбов бесконечной полоской
Мимо плывут... как ансамбль «Берёзка».

.....
Вновь набегают равнинная тишь.
Милая, добрая, что ты молчишь?
Плохо тебе от московского шума...
Память не память и дума не дума...
Родина... К прошлому нету возврата.
Сердце щемит. На душе мутновато.

В стихотворении «В котле гигантском, недохристианском(...)» поэт называет Россию «своей фатальной, экспериментальной, умом, увы, не понятой страной» и обнаруживает полную растерянность перед лицом наступивших перемен, которые «расстреляли его прошлое», а страну превратили... в энтропию.

Энтропия, энтропия...
Если просто – то стихия,
А ещё попроще – лень...
Неоформленное что-то...
Мера хаоса... Дремота...
Ваша тень на наш плетень....

Безмятежность поражения...
Вещество без напряженья...
Какофония... Разброд...
Жизни шум...
Дела такие,
Что в природе энтропия
Ну не хочешь, а растёт.

Так что, знаете, Россия –
Это образ энтропии,
И мужик, как вещество
У обочины в крапиве
Спящий –
Просто энтропия,
И не более того...

Сравнивая Россию до договора в Беловежской пуще и после неё, когда целая эпоха, по его словам, была сдана «в металлолом», он в стихотворении «Жаркое лето 2010» следующим образом характеризует новые и прежние времена:

Было всем, но понемногу,
Стало много, но не всем.
Если всем, то жизнь убога,
А не всем – для тех у Бога,
У кого совсем немного,
Нет времени совсем.

В лютом небе – ни дождевки.
Зной. Июль на серединке.
И в душе моей дыра
Полтора на полтора.

Птица тройка-перестройка!

Старость рыщет по помойкам.
Добивают до конца
Деда – внук и сын – отца,

И идут гулять по свету
Со своей белибердой
Господа из жизни этой
И товарищи из той.

И я сам уже не знаю
Кто я, где, с какого краю,
И тоскую по дождю,
Как Россия по вождю.

Из развалившейся России все, кто мог, стали уезжать. Как перелётные птицы, они покидали насиженные места в поисках более благоустроенной жизни. Волна эмиграции, начавшаяся с начала последнего десятилетия 20 века, коснулась и многих из окружения поэта. Все они звали его с собой. Один из них следующим образом объяснял свой отъезд:

«Россия... Гиблая стезя... –
Он усмехнулся кривовато. –
Одновременно в ней нельзя
Прожить и честно, и богато».

Потом, похлопав по плечу,
Сказал, что я при всём старанье
Здесь только шею сворочу
И обречён на умиранье,
Что слитный образ дикаря,
Чиновника и обормота
Монументален,
Что не зря
Слинял он, грубо говоря,
И что (на это несмотря)
Остался русским патриотом.

Я вспоминал свои года,
Друзей, чей образ не дробился,
Жалел, что умер не тогда
Или до времени не спился.

Откуда знать, что тот, с кем рос,
Шёл по одним снегам и травам,
Уедет и задаст вопрос,
Найдёт ответ и будет правым?

Он наливал, а я, поддав,
Смеялся, выгибая спину,
И прятал, виду не подав,
В дипломатических глубинах
Слезу.

Та скрытая слеза
Жгла душу.
Явь лишилась смысла.
И правда, бьющая в глаза,
Была мелка и ненавистна.

Поэту приходится выдерживать натиск не только со стороны друзей, но даже со стороны близких, убеждающих его уехать из России. Этот натиск и эта борьба поэта видны во многих стихотворениях, но ярче всего в стихотворении «И брат зовёт, и шепчет мать(...)»:

И брат зовёт, и шепчет мать:
«Уедем прочь из мглы и ада.
Отказываюсь понимать
(и начинает обнимать), -
Зачем тебе всё это надо?»

А впрямь: не всё ли мне равно,
Где жить и вечность ледяную
Зреть сквозь небесное окно?
Через какое полотно
Пересекать юдоль земную?

Чего уж там...
Как ни рули
К воображаемому раю –
Везде: вблизи или вдали,
На том и сём конце земли
Душа трепещет, умирая.

Но почему так тяжело мне
Себя представить перед взглядом
Чужой звезды в чужой стране?
.....
...И мать-то по моей вине
Страдает... дышит где-то рядом...
И стонет бешеная кровь
Под жутким бременем проклятья.
И к матери теку опять я
В кольцо всеильных рук, и вновь
Высвобождаюсь из объятий...

Но его приверженность к России-Руси так велика, что никакая волна эмиграций, никакая сила не в состоянии увлечь его за собой. Вот, что он говорит отъезжающему другу Янику в стихотворении «Прощание»:

«Ты меня ни в чём не убеждай.
Если хочешь ехать – уезжай.

Мы с тобой почти что старики.
О любви трепаться не с руки.

А и то сказать: у нас в крови
Нету генов жертвенной любви.

.....
Лишь душа, что ведьма на метле.
Ей, подруге, на любой земле
Тесно в человеческой тюрьме.

...Вот такое, значит, резюме...

Как видим, ответ поэта и матери, и другу одинаков: конец человека, где бы он ни был, один, и где бы он ни был, душе его будет тесно в «человеческой тюрьме». На этой почве отъезда проявилась вся разность мировоззрений поэта и его родных и

друзей, приведшая даже к его духовному разрыву с родным братом, оставившим Россию и уехавшим в Израиль. Этому разрыву посвящено грустное стихотворение «Брату», полное отсутствие взаимопонимания с которым ярко описано Грозовским в стихотворении «В Хайфе», посвящённом племяннику поэта, где он пишет:

На берегу Средиземного моря
То ли от радости, то ли от горя
С братом родным разговор замесили,
Он об Израиле, я – о России.

От изобилия рынка балдея,
Брат мой, открывший в себе иудея,
Грустную память из сердца гоня,
Слушал меня и не слышал меня.

Ехать к своим, хрен не всё забывая,
Звал он, чужое своим называя.
Я же, в чужом не ища своего,
Слушал его и не слышал его.

Всем отъезжающим, видимо, говорящим, что там родина человека, где ему хорошо, он отвечает:

Там, где память, там и родина.
Только что-то не пойму:
Иногда бывает вроде бы
Мне и память ни к чему.

И душа по кругу мечется.
Сумрак бродит по пятам.
Не продам своё отечество,
Но и душу не продам.

А также предупреждает их, пророчествуя:

Вернёшься на родину... Мало ли разных сторон,
Откуда судьбою нам, к счастью,
Дано возвратиться...
Приедешь
Увидишь знакомый шумливый перрон,
Услышишь,
Как сердце у самого горла стучится.

И жадно вбирая обычную русскую речь,
Изведаешь боль, неизвестную сердцу до ныне.
И будешь прощён. И от всех
Многочисленных встреч
Останется притча о блудном вернувшемся сыне.

И узы родства, уходящие в недра земли,
Окажутся крепче страданий твоих в одиночку.
И всё, кроме родины, тихо исчезнет вдали.
Замкнётся и съёжится в жалкую слабую точку.

Весь мир устремлён вперёд, лишь дорога, проходящая через Россию, идёт как будто бы назад, где пребывает то, чем жил и что любил поэт.

Снова я, от родного порога
Оторвавшись, гляжу на закат.
Сквозь Россию проходит дорога
Не вперёд, а как будто назад.

В каждом миге – улыбка прощанья,
Отрешенья... и, как ни живи,
Ты не сможешь без этой печали,
Без мучительной этой любви.

С каждым мигом роднее и ближе
Эти дали, где быть суждено,
Будто там, впереди, я увижу
Всё, чем жил, что оставил давно.

Поразительны цельность природы поэта, его верность самому себе и то пренебрежение, хотя и утеплённое любовью, с которым относятся к нему его родные и близкие, недооценивающие силу его характера и обоснованность поступков. Всю эту эпопею отъезда поэт как бы заключает стихотворением «Воробьи», причисляя себя к этим скромным птицам:

Остались воробьи.
От стужи и метелей
Все остальные птицы улетели.
Остались верные присяге воробьи.

Недавно видел я стремительные стаи
Болотных уток, серых журавлей.
Те были так дружны охотой своей
Покинуть местности отеческого края,
Что я без грусти проводил гостей.

Все вправе выбирать, где лучше и теплей.

«Не только птицы, люди выбирают»,-
Задорно прочирикал воробей.

«А ты, брат, что не в тёплые края?» -
Спросил я, улыбнувшись, воробья.
«А я, а я... зато...
Помойка вся моя...»

Мы, воробьи, народ неприхотливый...» -
И ускакал, смущённый и счастливый.

Я понял воробья, пернатого солдата.
Всех остальных увижу ли? Бог весть...
Их из души повымело куда-то.
Остались воробьи. Какие есть.

Пусть это самые простые птицы. Поэт и сам чувствует себя таким же простым и жизни жаждет тоже простой. В стихотворении, посвящённом В.Попову, он пишет о своём сокровенном желании:

Я исчезну в слепом повороте.
В душу врежутся чьи-то слова:
«У народа не слава в почёте,
У народа в почёте судьба».

Отыщу золотое местечко,
Уголок на великой Руси,
Где лесок, да пригорок, да речка,
Где грибов хоть косою коси.

Зачую поживу в коммунизме.
Без натуги и спешки. Легко.
Буду рыбу ловить и о жизни
Разговаривать с лесником.

Заведусь коё-каким огородом:
Лук, картошка, моркошка, стручки...
В общем, стану тем самым народом,
О котором слагают стихи.

Буду бить глухаря на болоте.
Что стихи? Похвальба да гульба...
«У народа не слава в почёте,
У народа в почёте судьба».

Это тот народ, который остаётся, неприхотливый и простой. Неприхотлив и прост в душе и сам поэт. Развлечения, к которым все стремятся, ему скучны. Скучны ему и скопления людей. Поэтому неудивительно, что он бежит от праздности летнего отдыха на юге домой, в «доисторическую глушь»:

К чертям! Домой! В метель любую
От южных усыпленных душ!
От солнца чуждого в лесную
Доисторическую глушь

С какой-нибудь избушкой бедной
И с дедом, что на склоне лет
Шлёт миру тихий, заповедный,
Великий северный привет!
(Из стихотворения «На пляже»)

Таковы в самых общих чертах поэзия Михаила Грозовского и её лирический герой, шагающий меж двух миров, как «очарованный странник», живущий непонятной для других жизнью, весёлый и грустный одновременно, а главное - человеческий и добрый.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк
30.12.15.